

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА



## АБРАМКА

ПОВЕСТЬ

### I

На свете есть только две великие идеи — Бог и... другая.

Если бы я верила в Бога!.. Я раздала бы всё и стала бы всем слугой. И мыла бы раны прокажённым, и омывала бы ноги нищим. Но где взять веру?

И я мечтала о красивых и сильных людях с открытыми лицами, ослепительными улыбками и пленительными телами, потому что если нет Бога, то самая прекрасная идея на земле — это быть, как боги.

Быть, как боги, — значит, быть равным среди равных. Мы говорим “мы”, но каждый сознаёт своё “я”. Мы любим друг друга, но каждый не похож на другого. Наше единство не кажется нам обременительным, в нём нет ничего от стадности, когда слабые, неинтересные люди вынуждены сбиваться в стаи. Мы, именно мы — сильное, прекрасное, избранное меньшинство — творим судьбы мира. На нас устрояется мироздание, и на нас равняются народы. Мы освобождаемся от оков любых традиций и становимся для большинства Абсолютом. Именно мы достигаем невиданного ранее расцвета Личности, мы возвращаем человеческое древо, отсекая больные ветви. Для нас нет препон, мы сами есть мера всех вещей. И множество низших, безликих существ, толкаясь, тянут к нам руки и стараются хотя бы прикоснуться к одному из нас!..

---

*ЗАМЛЕЛОВА Светлана Георгиевна родилась в Алма-Ате. Окончила Российский государственный гуманитарный университет (Москва). Прозаик, публицист, критик, переводчик. Автор нескольких книг прозы и публицистики, философской монографии. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Кандидат философских наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), защитила кандидатскую диссертацию на тему “Современные теологические и философские трактовки образа Иуды Искариота”. Живёт в Подмосковье.*

Но пока я и сама была таким же ничтожеством, толкущимся возле обители богов. Я знала, что никто из них не ждёт меня. Ведь на Олимпе каждый идёт своей тропой, скопом залезть туда невозможно. И на вершине каждый надеется только на себя, не пробавляясь сказками о сербобольности. Потому что там собираются люди, живущие настоящим, презирающие прошлое и не нуждающиеся в будущем. Их удел — наслаждение, которое они заслужили.

Чтобы быть, как боги, нужно иметь что-нибудь особенное, что-нибудь вроде пропуска. Большинству таким пропуском служат деньги или положение в обществе. Кто-то пробивается благодаря своим талантам. Я не располагала ничем в достаточном количестве. К тому же в нашем городе нет и не было ничего похожего на Олимп, а все мечтатели вроде меня уезжали хотя бы в Москву. Везло, понятно, не всем. Но портреты двух или трёх наших земляков мы видели в газетах и журналах. Одна девочка из нашей школы появлялась даже на обложках. И когда я смотрела на это красивое, смеющееся лицо, на ровные белоснежные зубы, на персиковые щёки, блестящие матовым блеском, на белокурые волосы, струящиеся вдоль шеи, на длинные ногти с белыми кончиками, на тонкие бретельки маленького чёрного платья, мне становилось грустно. Ведь она, красивая, сильная, среди себе подобных она уже воплотила мою мечту. Хотя дело, конечно, не в ногтях и бретельках. Это всего лишь атрибуты, знаки отличия прекрасного золотого меньшинства от серого рабского большинства.

“Но что мне делать, чтобы наследовать жизнь красивую?” — пока я только задавалась этим вопросом, в нашем городе произошли странные события.

А началось всё смертью одной старухи.

Происшествие это могло бы показаться заурядным, когда бы не сто пятый юбилей, который Мария Ефимовна Люггер справила незадолго до своей кончины.

Нет никаких сомнений, что Мария Ефимовна была и остаётся легендой и, можно даже сказать, достопримечательностью нашего города. Все мы давно свыклись с мыслью, что Мария Ефимовна — участница двух революций и гражданской войны — есть неотъемлемая часть нашего города, как площадь перед зданием правления или городской парк. Не одно поколение горожан выросло на примере Марии Ефимовны. А потому и в отношении нашем к ней было что-то почти мистическое: казалось, она не родилась от отца с матерью, как все прочие люди, а была всегда и пребудет вовек.

В краеведческом музее с незапамятных времён висит портрет Марии Ефимовны и краткая её биография, из которой можно узнать, что родилась Мария Ефимовна в патриархальной религиозной семье в одной из западных губерний тогдашней империи. Подростком Мария Ефимовна примкнула к революционному движению. И, в качестве проверки, учинённой товарищами по партии, метнула бомбу в какого-то генерала. Генерал вскоре скончался, а Мария Ефимовна оказалась за решёткой. Потом были побег и граница, прокламации и plombированный вагон, революции и гражданская война. В 39-м Марию Ефимовну арестовали, в 54-м ей вернули честное имя. С тех пор Мария Ефимовна посвятила себя народному просвещению, работая и учителем истории, и директором школы, и возглавляя перед пенсией городской отдел народного образования.

Повидавшая Ленина и Максима Горького, для нас Мария Ефимовна давно уже была символом или эмблемой. “Человек-эпоха”, — написала к её столетнему юбилею местная газета. И все согласились с этим, несмотря даже на те разоблачения, без которых невозможно было обойтись в последние годы. Это сегодня журналисты соревнуются в сочинительстве альковных побасёнок, но было время, когда подписчикам предлагали совсем иные истории. Тогда было модным разоблачать и срывать маски. Конечно, столичной печати не было дела до Марии Ефимовны Люггер, но местные борзописцы просто не могли обойти её своим вниманием. Не то, чтобы они как-то особенно ненавидели Марию Ефимовну или жаждали отмщения. Тем более что в городе её любили и гордились ею. Просто время тогда было такое. Публика алкала

правды, а газетчики и романисты, захлёбываясь в новой информации, старались утолить эту алчбу. Многие тогда сделали себе имя, публикуя самые дерзкие и совершенно невозможные дотоле версии истории.

Надо и тут отдать должное Марии Ефимовне, которая отнеслась к разоблачительным заметкам на свой счёт с беспримерной невозмутимостью. И это несмотря на то, что среди разоблачителей оказалось немало бывших учеников её и даже последователей.

В городе статейки почитывали, бывало, и удивлялись. В целом же отношение к Марии Ефимовне не менялось, за исключением разве каких-нибудь крайних, радикальных элементов нашей общественности.

Более же других удивлял всех Иван Петрович Размазлей. Иван Петрович — это мой отчим. Сейчас он городской голова, а начинал учителем истории. В классе, где учился Иван Петрович, классным руководителем была Мария Ефимовна. Это был её последний выпуск, её последняя любовь.

Иван Петрович слыл в классе лидером. Тогда уже это был карьерист — с самого почти детства его то выдвигали, то избирали на какие-то должности. То он занимал совершенно загадочный и непонятный для меня пост председателя совета отряда, то, волею комсомольского собрания, становился комсоргом.

Может, существовало между ними какое-то сходство, и Иван Петрович напоминал Марии Ефимовне её самое в юности. А может, глядя, с каким рвением следует заветам партии юный комсорг, Мария Ефимовна вспоминала революционную молодость и гражданскую войну, боевого коня и “товарища маузера”... А может, Иван Петрович напоминал ей какого-нибудь молоденького комиссара, затянутого в чёрную кожу? Но только как иначе объяснить особенное расположение Марии Ефимовны к “Ваничке Размазлею”? Ведь и умирая, не забыла она любимого ученика, оставив ему по завещанию “революционный хлам” — так назвал эти вещи Иван Петрович. Среди “хлама” оказалась пачка старых фотографий, на которых Мария Ефимовна, точно кавалерист-девица, позировала верхом. Была ещё потёртая кубанка с красной ленточкой, расшитый мешочек для чернильницы, несколько пожелтевших писем, которые Иван Петрович не удостоил прочтением. Было стальное перо, сломанные очки и изрядно потрёпанный томик Бабеля. Дома, в кругу семьи, Иван Петрович довольно насмеялся над революционной сентиментальностью Марии Ефимовны. На публике торжественно и даже с оттенком трагизма передал её вещи в дар краеведческому музею. Не сомневаюсь, что Иван Петрович и сам мечтает в экспонаты. И надеется увидеть со временем собственный портрет и биографию в одном из залов. Думаю, именно с этим умыслом он и затеял лет пятнадцать тому назад писать диссертацию о революции и революционерах. Само по себе желание понятное, да и тема не предосудительная. Вот только главной фигуранткой исследования опять-таки стала Мария Ефимовна Люггер.

Лучшие и наиболее яркие страницы диссертации публиковались в местных газетах.

Может быть, Иван Петрович и не сказал своей диссертацией ничего нового, зато он так ловко переставил акценты, так мастерски поменял местами чёрное и белое, что город вздрогнул. Все и так знали, что Мария Ефимовна воевала в гражданскую и участвовала в подавлении белогвардейских мятежей. Со слов же Ивана Петровича выходило, что Мария Ефимовна расстреливала пленных белогвардейцев. Да и как расстреливала! Будто бы, расположившись в каком-то брошенном провинциальном театре, Мария Ефимовна и компания услаждались спектаклями: на сцену выводили пленённого офицера, а революционная молодёжь, соревнуясь в меткости, открывала стрельбу из зала. Мишенью служил офицерский лоб.

Ничего более богомерзкого городская пресса ещё не предлагала. А Мария Ефимовна на наших глазах превращалась в отвратительного монстра. Многие просто отказывались верить Ивану Петровичу и кляли его как лжеца и вероотступника. Другие, напротив, торопились и предлагали лишить Марию Ефимовну персональной пенсии.

Но дело это так ничем и не кончилось.

Времена, когда горожане могли позволить себе потолковать об исторической справедливости, были на исходе. Вместо этого стали поговаривать о банкротстве керамического завода. И про Марию Ефимовну скоро забыли. Правда, в связи с кончиной её кое-кто вспомнил об Иване Петровиче и даже усмотрел в его публикациях причину преждевременного ухода стопятидесятлетней старухи. Но это уж была совершенная нелепица.

## II

Мне всегда казалось, что Иван Петрович беспрерывно что-то ищет, но что именно, не знает сам. А оттого и найти не может. И в этом, пожалуй, главная его мука, потому что, как вечный жид, обречён Иван Петрович на годы странствий и поиска.

Ведь Иван Петрович так и не защитил своей диссертации о революции и революционерах, потому что увлёкся идеей демократических выборов, которые тогда только входили у нас в большую моду. Возмечтав быть избранным в законодательное собрание, Иван Петрович оставил научные изыскания, и все силы свои бросил на агитацию. Забегая вперёд, скажу, что вся эта затея с выборами провалилась тогда. Молодого и энергичного Ивана Петровича в городе знали не только как автора нашумевших публикаций, он был известен своими прогрессивными убеждениями. Став в продолжение своей карьеры директором школы, Иван Петрович завёл в подвластном ему учреждении такие удивительные порядки, что иные ретроградные родители называли их невозможными.

Был самый конец восьмидесятых годов, и к ретроградкам уже не очень-то прислушивались. Даже высокое начальство остерегалось порой одёргивать и ставить на место входивших во вкус преобразователей.

Среди учеников Иван Петрович очень скоро сделался всеобщим любимцем и своим парнем. Прежде всего, Иван Петрович отменил по субботам обязательную тогда школьную форму. Потом он учредил в школе какой-то особенный комитет, куда входили выборные представители от учителей, родителей и от старшекласников. Комитет собирался раз в неделю. Иван Петрович много говорил о демократических преобразованиях в школе, чем приводил слушателей в восторг, но дальше этого дело не шло.

— Теперь всё зависит только от нас, — уверял Иван Петрович. — Мы сами теперь должны решать свою судьбу.

Комитетчики радовались новой возможности и благодарно аплодировали Ивану Петровичу. Однако, что именно нужно теперь делать и почему школа не может существовать, как раньше, никто из них в толк взять не мог.

Наконец, ничегонеделание комитета стало слишком заметным и неприличным. На третьем или четвёртом заседании, в видах борьбы за успеваемость, постановили исключить кого-нибудь из школы.

По поручению Ивана Петровича учителя отобрали двоих. Вместе с родителями жертвы были приглашены на заседание комитета. Иван Петрович вынес на голосование вопрос о целесообразности их дальнейшего обучения в школе. Большинство голосов сочли дальнейшее обучение целесообразным, и заседание комитета на этом закончилось. Собирались потом ещё несколько раз. Говорили об успехах демократии в школе. А потом и вовсе перестали собираться.

И это было в то самое время, когда Иван Петрович готовился принять участие в выборах в законодательное собрание, и повсюду висели листовки с круглой его физиономией. А старшекласники проводили летние каникулы, агитируя на улицах города голосовать “за самого демократичного кандидата”. Когда же какой-то солидный господин, которому школьники сунули пачку прокламаций, попытался выяснить у вожака агитаторов — востроглазой, румяной барышни, — что это такое значит, она только воскликнула:

— Ах! Он такой демократичный!

А больше ничего не нашлась сказать.

И вот, по странному рассуждению горожан, неподготовленных — как отозвался Иван Петрович — к демократии, выходило, что самый демократичный и прогрессивный человек не мог представлять город в законодательном собрании.

И всё же Иван Петрович продолжал оставаться убеждённым поборником реформ. В студенческие годы у него произошла смена мировоззрения, чему способствовала и стажировка в Европе. Иван Петрович любил рассказывать ребятам о своих тогдашних открытиях. Ребята слушали, раскрыв рты. Потерпев поражение на выборах, Иван Петрович придумал устроить в школе кружок по изучению истории и целиком отдался своему новому детищу. Теперь два раза в неделю собирались в классе и при свете зелёной лампы слушали и задавали вопросы. Собственно, историей занимались мало, всё больше разоблачениями. Читали Евгению Гинзбург, “Архипелаг ГУЛаг”, что-то в защиту Бухарина и Троцкого.

Кружок истории просуществовал целый год. Кабинет, где проходили занятия, едва вмещал всех желающих. Родители и учителя ликовали: впервые столько ребят выказывало желание приобщиться к истории. Но, как ни странно, из пятнадцати человек, державших летом вступительный экзамен по истории, справились только двое. Остальным пришлось на год оставить мечту о высшем образовании. Но Иван Петрович уже не был в то время директором школы.

Кажется, был какой-то скандал из-за мимолётного романа Ивана Петровича с одной старшеклассницей. Но скандал этот постарались заглушить, для чего Ивану Петровичу предложили перейти на работу в отдел культуры. Иван Петрович предложение охотно принял.

В каком-то пароксизме нетерпения Иван Петрович хватался за новые и новые идеи, рассчитывая на скорый и громкий результат. Казалось, Иван Петрович всё не может определиться. Старое было поругано и уже смердело. Новое, хоть и открывало возможности, но открывало их не каждому, требуя взамен отказа от привычек и взглядов, отказаться от которых вот так сразу было непросто. А Иван Петрович считал себя человеком интеллигентным, он морщился при виде бесцеремонности. Ему мерещилось какое-то идеальное устройство: хотелось продолжать ощущать себя интеллигентом и наслаждаться при этом всеми благами, доступными смертным, — семейным счастьем и уважением коллег, славой и народной любовью, плодами труда своего и Бога знает, чем ещё. Хотелось, кстати, и в Бога верить, и бывать, по его собственному выражению, на мессах. Но всё почему-то устраивалось не так, как грезилось.

Семейное счастье и вовсе, по-моему, у него не задавалось. Брак с моей матерью — второй у Ивана Петровича. Первая его супруга, Наталья Алексеевна, сама сделала ему предложение, и сама же оставила его после четырёх лет совместной жизни. Оставила ради какого-то разбитного молодца, с которым и уехала в Москву. Объяснила свой поступок Наталья Алексеевна тем, что разглядела в новом избраннике человека предприимчивого.

Наталья Алексеевна нередко совершала довольно странные поступки, объяснение которым находилось не сразу. Это была особа довольно крупная, ширококостная, с сильными руками и большой грудью. Впрочем, несколько сутуловатая. В лице её всегда было что-то напряжённое, даже когда она смеялась. Усиливали это впечатление губы — тонкие и бесформенные.

Главная странность Натальи Алексеевны заключалась в том, что, будучи нрава тихого, она то и дело удивляла всех суждениями настолько циническими, что и выдавшие виды, тёртые и потасканные люди приходили в смущение. Кстати, странность довольно распространённая среди людей, желающих *казаться*. Желание казаться толкает человека на несообразные поступки. Наталье Алексеевне, очевидно, рассудилось, что чем циничнее и бессердечнее будут её деяния и суждения, тем более здравого смысла и ума проглянет за ними. “Никаких сантиментов!” — был, очевидно, её девиз.

Ивану Петровичу Наталья Алексеевна так и объявила:

— Я тебя люблю, Ваня, но выбираю деньги!

Хотя и денег-то особенных тогда не было. А вероятнее всего, что Наталья Алексеевна сочла такого рода поступок за проявление ума, а момент — подходящим, чтобы ум свой кому-то показать. Правда, до нас доходили слухи, что второй супруг Натальи Алексеевны неплохо устроен и даже, кажется, имеет отношение к известному банку. Впрочем, совсем недавно пришло известие, что Наталья Алексеевна в тюрьме и что будто бы она наняла убийцу для расправы с конкурентами мужа. Иван Петрович, когда узнал, совершенно растерялся и долго восклицал, что “этого никак не может быть!” Но потом признал, что именно этого или чего-нибудь в этом роде он как раз-таки ожидал и боялся.

После развода с Иваном Петровичем Наталья Алексеевна хотела забрать дочку, которой было тогда четыре года. Но Иван Петрович вмешался и проявил неожиданную твёрдость характера, настояв, чтобы девочка осталась с ним.

А примерно через год Иван Петрович женился на моей матери. Точнее было бы сказать, что мать женила его на себе. А я так думаю, что кто бы ни позвал его тогда — за любой бы пошёл. И удивляюсь: как могло случиться, что никто до моей матери не успел подхватить эдакого жениха!

Мне было тогда три года. Наверное, я была так мала, что Иван Петрович поначалу не замечал меня. По-моему, однажды он удивился, заметив, что у него теперь две дочери. Впрочем, меня никогда почему-то не замечали. Сначала и вовсе скользили по мне взглядом. Потом, стоило мне раскрыть рот, начинали смеяться или довольно грубо одёргивали. Мне всегда казалось, что я всем только мешаю и всех раздражаю. Первое слово, в котором я правильно проговорила “р”, было слово “дрянь”. Иногда так называл меня мой настоящий отец. Когда родители мои развелись, мы с матерью убежали в другой город, где вскоре мать вышла за Ивана Петровича. Убежали, потому что отец даже и после развода не оставлял мать в покое и, случалось, её поколачивал. А бийца был убеждённый. Убеждения его сводились к тому, что “женщину надо учить”. Сколько я помню отца, человек это был маленький, тщедушный и пьяный, как говорится, “у нашего Тита и пито, и бито”. Чему уж он там учил мать — не знаю. Но иногда, грешным делом, почти его понимаю. Есть такая эмблема — змея, кусающая себя за хвост. По-моему, с матерью давно уже происходит нечто похожее.

Войдя в семью Ивана Петровича, мать поставила своей целью доказать, что она “не какая-нибудь там”, а высокодуховная личность, и не без талантов. Происхождения мать действительно была самого простого. Семья же Ивана Петровича — хорошая, с традициями. Так что мать поначалу и оробела. Но тут же в припадке гордости возненавидела новых родственников самой лютой ненавистью. А заодно вспомнила о каком-то троюродном брате, игравшем в Новгородском драматическом театре, и навдумывала для меня необыкновенных музыкальных способностей. За что очень скоро мне пришлось отдуваться в музыкальной школе, а после — в училище.

Вместе с тем, в характере матери прижилась непреодолимая потребность жалеть себя. Родных же Ивана Петровича мать назначила себе обидчиками. Потребность обидеться и пожалеть себя со временем становилась для неё всё неотвязнее. К тому же всякий раз мать обнаруживала, что удовлетворения от обид и обвинений она не чувствует, да и родственники как будто мнения своего не меняют. Всё это вместе только распяляло несчастную, заставляя буквально на каждом углу кричать о брате-артисте и о моих музыкальных дарованиях.

Возможно, и был момент, когда кто-то из родни Ивана Петровича косо взглянул в сторону матери. И этого оказалось достаточно: мать, повидавшая и жестокость, и несправедливость, вспыхнула мгновенно. Озлобленная, привыкшая уже жалеть себя, мать не привыкла прощать и запоминала каждую маленькую обиду. Лелеемые обиды понуждали мать злорадствовать и злословить, привычка жалеть себя заставляла видеть обиды там, где их не было. Круг замыкался.

Узнав, что Иван Петрович женился на моей матери, Наталья Алексеевна снова потребовала назад свою дочь, которую Иван Петрович намеревался

было оставить у себя и за которую так отважно бился с Натальей Алексеевной. Но на новый виток борьбы сил у Ивана Петровича не достало. И он уступил.

Наталья Алексеевна увезла дочь. Но то ли отчим не обрадовался, то ли Наталье Алексеевне вздумалось ум показывать, только Лизу, не прожившую в Москве и месяца, переправили к бабушке в деревню под Архангельском. И в следующий раз Иван Петрович увидел Лизу только спустя двадцать лет, когда Лиза, получив диплом о высшем образовании, приехала к отцу повидаться. Иван Петрович давно уже приглашал Лизу приехать, но Лиза всё как-то откладывала.

### III

Лиза приехала в тот день, когда во дворце имени Радека назначили гражданскую панихиду по Марии Ефимовне Люггер. В городе только и разговоров было, что о смерти старушки. Проститься с ней пожелали все. День был объявлен нерабочим, и ко дворцу имени Радека с самого утра стали стекаться люди. Чем-то это напоминало похороны большевистских вождей. Хотя, конечно, давни на улицах не было. Но это лишь потому, что город наш не слишком многолюден. Думаю, больше здесь было любопытства, нежели другого какого-то чувства.

Хлопоты об устройении панихиды, похорон и поминок выпали на долю Ивана Петровича как городского головы. И дело не только в том, что Мария Ефимовна давно уже сделалась достоянием городской общественности, но главным образом, по причине одиночества старушки. У Марии Ефимовны был сын, но ещё в 60-е годы он переселился в США, где и почил лет десять назад. Остались у него дети и внуки, которых Мария Ефимовна никогда не видела. Сын не раз предлагал Марии Ефимовне переехать к нему, но всякий раз Мария Ефимовна наотрез отказывалась. Внуки и правнуки не баловали Марию Ефимовну своим вниманием, и никто из них ни разу не приезжал в наш город.

И всё же о смерти Марии Ефимовны решено было их известить. Иван Петрович связался по телефону с американскими Люггерами, и те, к удивлению нашему, объявили, что кто-нибудь из них обязательно приедет на похороны.

Грешным делом, я и тут не увидела искренних чувств, а разве только желание развеяться да на медведей посмотреть. Впрочем, про себя я не сочла это чем-то дурным, скорее — разумным. Ведь не убиваться же, в самом деле, американским Люггерам по своей прабабке, которую они и в глаза-то никогда не видели! “Слёзы были бы — *une affectation*”. И не за домиком же, оставшимся от Марии Ефимовны, из Балтимора ехать!

Словом, мне нравилось тогда думать, что у этого приезжающего Люггера ничего, кроме насмешливых и потешных соображений, и быть не могло. Возможно, всё было и не так, но мне именно хотелось думать в этом роде. Я даже решила заранее, что оскорбляться тут нечем, а всё поделом и даже на пользу.

Люггеры делегировали к нам младшего из правнуков Марии Ефимовны. Как только проезд подтвердился, Иван Петрович захопотал. Всё вокруг забегало, засуетилось. Решено было устроить поминки по высшему разряду — с икрой. Кто-то даже предложил шампанское. Но вовремя спохватились, что на поминках шампанское неуместно.

Люггера, прилетавшего в Москву, Иван Петрович распорядился доставить на казённой машине прямо из аэропорта. Составили программу пребывания Люггера с обязательным посещением керамического завода и краеведческого музея. Иван Петрович вошёл во вкус и хотел было предложить Люггеру остановиться в нашем доме, но мать воспротивилась. И была совершенно права. Дело в том, что в доме у нас, помимо кухни и прихожей, всего три комнаты. Так что, где именно собирался Иван Петрович поселить американского гостя, осталось для меня тайной. Казалось, что Иван Петрович возлагает на Люггера какие-то особенные надежды. Дело здесь было не

в русском хлебосольстве — очень уж хлопотал Иван Петрович, очень уж волновался.

На похороны Марии Ефимовны Люггер опоздал. Траурную церемонию решено было не отменять, зато поминки перенесли на несколько дней.

Приехавший Аркадий Люггер — так он представился — пожелал остановиться в родовом гнезде, то есть в домике Марии Ефимовны. Домик, по распоряжению Ивана Петровича, на всякий случай прибрали и приукрасили накануне. Как только сообщили, что Люггер доставлен, Иван Петрович лично отправился засвидетельствовать ему своё почтение.

Домой он вернулся чрезвычайно довольный. Кажется, он даже что-то напел себе под нос.

— Ну, и как Люггер-флюггер? — спросила я.

— Люггер-то? — Иван Петрович рассмеялся. — Люггер хорош! Довольно симпатичный, молодой — лет сорока, может быть. Брюнет! — Иван Петрович снова рассмеялся. — По-русски лучше нас с тобой говорит.

— Женат? — поинтересовалась я.

— Нет! Кажется, нет...

Мать ни о чём не расспрашивала. И по одному только этому было понятно, что гроза надвигается.

#### IV

В организации панихиды, похорон и поминок Ивану Петровичу удалось задействовать половину города. Ему вздумалось даже настаивать на отпевании. Но Мария Ефимовна не была крещена ни в одной из христианских церквей, и благочинный, к которому Иван Петрович обратился с просьбой устроить как-нибудь отпевание, объявил, что об отпевании не может быть и речи. Ивану Петровичу бы принять и согласиться. Но он вздумал настаивать. И даже взялся объяснять благочинному, что в данном случае отпевание просто необходимо, поскольку смотреть придёт весь город. А внимание множества людей, пусть даже и в такой скорбный день, необходимо как-то занять. К тому же отпевание такой особы явно будет способствовать упрочению роли Церкви в нашем городе.

Разговор происходил в кабинете Ивана Петровича — он вызвал благочинного к себе. Секретарша Ивана Петровича, Вероника Евграфовна, дама почтенная и несклонная к пустым выдумкам, передавала, что благочинный возмущился настойчивостью Ивана Петровича:

— Это Церковь, Иван Петрович! — воззвал он. — Церковь Христова, а не балаган! Я на службах надеваю митру, а не шутовской колпак. И отпевать иноверку или безбожницу, пусть бы и бодрствующую в помышлениях благих, я не стану. Может, не всё и совершенно в Церкви земной, но эта Церковь лишь видимая часть. Есть же часть невидимая — мистическая! И глава ей — Христос! И Ему ответ дадим, и Ему одному поклонимся...

Но Иван Петрович так, кажется, ничего и не понял, потому что продолжал стоять на своём. Благочинный вышел из себя и уехал восвояси. Но, как рассказывала Вероника Евграфовна, позже перезвонил Ивану Петровичу и предложил встретиться уже после похорон, чтобы “очень многое обсудить”. Иван Петрович предложение принял, но до последнего, даже и в обход благочинного, пытался найти “хоть какого-никакого завалищаго попа”, который не отказался бы служить панихиду. Уж очень хотелось Ивану Петровичу обставить похороны Марии Ефимовны!

А ведь было! Было, что обсудить Ивану Петровичу с благочинным! В самом деле, отношения главы города и благочиния складывались весьма не просто. Сначала, казалось, всё шло хорошо. Иван Петрович и отец Мануил жали друг другу руки, целовались троекратно и даже поговаривали о сотрудничестве. Но потом вдруг всё изменилось. Первые разногласия появились в связи с идеей Ивана Петровича устроить в городе парк скульптур.

Ивану Петровичу, как только его избрали городским головой, захотелось войти в анналы, и он принялся выдумывать всякие штуки. К тому же, как я уже говорила, Ивану Петровичу очень хотелось оставаться интеллигентным



человеком. Интеллигентность — это игра, это поза, раз приняв которую, переменить невозможно. Религия, например, требует смирения и покаяния. Олимп ждёт веры в себя и в свои силы. Кстати уж замечу, вера в себя и свои силы исключает веру в Бога. В самом деле: как это возможно, положившись во всё на волю Божию, как того требует религия, верить, что человек сам творец своего счастья? Бог повелел Аврааму убить единственного сына. Можно себе представить, каково это: поднять нож на собственного малютку! Но Авраам таки поднял. Поднял, потому, что верил: какие бы чудачества ни предлагал Бог, в них, несомненно, больше толку, нежели в самых мудрых человеческих мудростях.

Некоторые, впрочем, полагают, что успех ниспосылается за какие-то особенные заслуги или добродетели. Но уж это — чистой воды самообман. Добродетели некогда думать об успехе, да и кому нужен он в вечности?

Олимп и религия — две вещи несовместные. Но удел интеллигенции — всегда оставаться прослойкой. Потому что принять крайнее она не может. Иначе придётся переменить позу. И прощай репутация непрощеного борца за свободу!

Но немножко ото всего отщипнуть и немножко всё покритиковать — вот вам и гуманизм, образованный, духовный, независимый и стремящийся “жить по-человечески”, — интеллигентское кредо. А если что-то не так, если кто-то вдруг обронит колючее слово “подлость” — так ведь “это жизнь!”, и всякий поступок достоин оправдания. Такие люди вечно колеблются между мерзостью и благовидностью. Однако всему предпочитают личное довольство.

И ведь так и живут: у каждого по-своему понятый, удобный Бог, у каждого свои, удобные святые.

Возглавив город, Иван Петрович решил, что первый его долг как современного интеллигентного руководителя — убрать с улиц памятники советским вождям. Отправить на переплавку рука не поднималась, к тому же среди горожан оставалось немало последователей коммунистического движения, а среди скульптур — настоящих произведений искусства. Вот тут-то у Ивана Петровича и родилась идея устроить в городе парк скульптур. Этим выстрелом Иван Петрович намеревался убить не двух, а сразу четырёх зайцев: убрать с улиц напоминания об “Октябрьском перевороте”, избежать недовольства верных ленинцев, сохранить творения знаменитых мастеров и, наконец, устроить в городе место прогулок и паломничества.

Загвоздка была только в одном: в городе, как это ни странно, никогда не было парка. То есть, возможно, парк когда-то и был, но помнить о нём могла только Мария Ефимовна. Был, правда, монастырский сад, где при советской власти появились аттракционы и детские площадки, а потом — автостоянка и свалка. Но о том, чтобы убрать стоянку, не могло быть и речи — капитал был частный и для Ивана Петровича неприкосновенный. Насадить новый сад тоже оказалось невозможным — уж очень долго и хлопотно. Иван Петрович вспомнил, что при монастыре есть ещё и некрополь, где давно уже никого не хоронят и где в старину предавали земле монахинь и славных горожан.

Деревья, шелестя листьями и перебирая ветками, беспорядочно разрослись на старом кладбище. Могилы почти сравнялись с землёй. И только сохранившиеся кое-где каменные кресты и плиты свидетельствовали, что именно здесь нашли свой последний приют никому не известные и всеми давно забытые, но, тем не менее, когда-то любившие и ненавидевшие, верившие и сомневавшиеся, воевавшие или молившиеся за Отечество простые русские люди.

Со стороны Церкви, решил Иван Петрович, возражений не может возникнуть, так как монастырь ей не принадлежит. Действительно, собственником бывших монастырских зданий и по сей день остаётся государство, а в храмах и корпусах размещается наш краеведческий музей.

Иван Петрович собрал городских архитекторов, и те согласились: лучше всего места для парка скульптур в городе просто не найти. Решено было проредить заросли, выложить дорожки, подправить сохранившиеся надгробия, а над неизвестными могилками установить памятники и бюсты вождям.

Иван Петрович ликовал. Новая идея, как всегда, захватила его, и он с поистине молодёжным энтузиазмом бросился воплощать её в жизнь. И нетрудно представить себе его раздражение, когда на пути его непреодолимым препятствием вдруг возник отец Мануил.

Вероника Евграфовна рассказывала, что отец благочинный сам явился к Ивану Петровичу.

— Одумайтесь! — воззвал он. — Одумайтесь, Иван Петрович! Перестаньте быть врагом народу своему! Если сегодня мы хотим выжить, нам надо защищать святыни свои, а не топтать их!

— О чём это вы, отец Мануил? — удивился Иван Петрович. — Что такое случилось? Вот присядьте лучше... Воды, что ли, выпейте... Что такое случилось? Опять безбожники одолевают?

— Вот то-то, — вздохнул отец Мануил, присаживаясь, — одолели совсем безбожники. Пантеон свой задумали на святом месте устроить. Капище богомерзкое.

— Да о чём это вы? — рассмеялся Иван Петрович.

— Если вы, Иван Петрович, решили демонтировать в городе памятники — это ваше дело. Но водружать их над могилами... Изваяния воинствующих атеистов на монашеском кладбище... Так себе славы не снискать, Иван Петрович!..

Настоящего или, как говорят, мирского, имени отца Мануила я не знаю. Известно, что родом он откуда-то из Малороссии и что путь свой выбрал очень давно и совершенно самостоятельно. Происхождения он самого простого, а семья его не была ни воцерковлённой, ни даже просто верующей. Рассказывают, что когда-то в юности он пережил странное видение. Наблюдая как-то на танцплощадке за парами, вдруг ощутил он, что всё, бывшее у него перед глазами, точно превратившись в листок бумаги, свернулось в трубку. И будущий благочинный совершенно отчётливо разглядел у танцующих копыта вместо штиблет и туфель. Поражённый своим видением, в страхе бежал он с танцплощадки.

Природа видения осталась невыясненной. Была ли это галлюцинация, а может, оптический обман или ещё что-нибудь — юноше, задававшемуся в ту пору вопросами “зачем?” и “как?”, было совершенно неважно. Непонятным, нелепым, казалось бы, образом он вдруг получил ответы на свои вопросы. Хотя, быть может, ответы эти таились где-нибудь в недрах его сердца и только ждали подходящего времени, чтобы вырваться из оков, прогнать в душе и увлечь за собой.

Известен ещё один случай из биографии отца Мануила. Старший брат его сжёг как-то в костре живого котёнка. Отец Мануил, как младший, не посмел вмешаться, но, говорят, когда, уже будучи благочинным, отец Мануил вспоминал этот случай, всякий раз ему становилось нехорошо.

Конечно, не один отец Мануил задавался в юности вопросами. Но не все находят ответы. Не все находят, к чему пристать, к чему прикипеть душой. Страх одиночества, неопределённости и безысходности заглушается по-разному. Водка, деланная грубость или жестокость — все средства хороши.

В тот же вечер брат отца Мануила уронил на себя керосиновую лампу, и одежда на нём загорелась. С сильными ожогами увезли его в больницу. С тех самых пор он повредился. Выйдя из больницы, не смог он ни учиться, ни работать и, бессмысленный, влачился всюду за младшим братом.

Случилось братьям поздно возвращаться откуда-то домой. На улице было темно и тихо. В преддверии зимы медленно и неслышно падал первый снег, укрывая грязную мостовую белым ковром.

Никто не встретился поспешавшим домой братьям. Одни, точно в сказке, оказались они на бесшумных белеющих улицах. Будущий отец благочинный и блаженный брат его.

В каком-то переулке из покосившегося, потемневшего домишки услышали они пение и, любопытствуя, кто и зачем поёт в такой хибаре, решили зайти. Приоткрыв дверь в горницу, отец Мануил остолбенел на пороге: комната была полна женщин, одетых во всё чёрное. Это их голоса братья слышали на улице — несколько женщин пели.

Не сразу отец Мануил догадался, что это монашки из закрытого монастыря. Одна из них, заметив непрошенных гостей, ввела их в комнату. Когда закончилось пение, протянула отцу Мануилу книгу и сказала:

— Читай!

Он робко принял книгу и огляделся. Монахини улыбались ему. Спасов лик строго смотрел из угла. Свечи заодно горели. Раскрыв книгу и с трудом разбирая церковнославянские буквы, стал он читать.

— Трудно объяснить, что произошло со мной тогда, — рассказывал отец Мануил, — только пустота в сердце в одночасье исчезла. И наполнилось сердце светом и радостью. Неизреченной, велией радостью!

Разве могли знать те монахини, что спустя более полувека отрок, случайно забредший с блаженным братом в их избушку и разбиравший по слогам “Апостол”, вступится за них, призвав власти вернуть монастырь монашествующим?

Отец Мануил не раз обращался и к Ивану Петровичу, и к бывшему до него городскому голове. Но всякий раз получал один и тот же ответ: “Некуда перевести краеведческий музей. Вот будет здание для музея, будут переговоры с Церковью”.

Что до Ивана Петровича, он решительно выступил против отца благочинного. Ведь речь шла уже не просто о передаче монастырских зданий, благочинный вставал на пути устройства парка скульптур. А Иван Петрович возлагал свои надежды на этот проект. Осуществись он, и Иван Петрович из посредственного местечкового градоправителя обернулся бы преобразователем почти областного масштаба, беспощадным к душителям свободы и наклонным к творческим решениям. А тут появляется благочинный и заявляет:

— Так себе славы не снискать!

— Да помилуйте, отец Мануил! — удивился сперва Иван Петрович. — Кому это помешает? Вождей с улиц уберём — городу профит. В парк туристов будем водить — опять профит. А тем, кто там лежит... Да кто их беспокоит? Пусть покоятся с миром. Прах ничей не тронем, скульптуры поставим исключительно на пустом месте...

— Это не пустое место, Иван Петрович! — перебил благочинный. — Не пустое место и не парк. Это кладбище. Православное кладбище. Там покоятся и те, кого расстреливала безбожная власть. А вы намереваетесь водрузить памятники палачам над могилами жертв! Свет не видывал худшего кощунства, Иван Петрович! Как вы спать после этого думаете? Тут уж не “красавые мальчики”, а сонмы окровавленных мучеников перед глазами явятся!

Думаю, был момент, когда Иван Петрович действительно испугался перспективы увидеть сонмы окровавленных мучеников. Но тут же наверняка встрепенулся и, стяхнув наваждение, рассмеялся:

— Будет вам, отец благочинный! Что вы всё не уймётесь? Лучше бы крестили да венчали, в самом деле. А вы бунт устраиваете. Грех вам...

— Грех на вас будет, Иван Петрович, когда совершите вы сие кощунство!

В ответ Иван Петрович поднялся из-за стола.

— Благодарю вас за визит, отец благочинный. Обещаю подумать над вашей просьбой.

— Я ухожу, Иван Петрович, — поднялся и отец Мануил. — Обещать, конечно, не могу, но приложу все силы, чтобы не дать богохульному замыслу вашему осуществиться.

С тем и ушёл. Ивану Петровичу только и оставалось, что рассмеяться вдогонку.

А через несколько дней в одной из наших газет появилось интервью с Иваном Петровичем. Речь сначала шла о нуждах города, как вдруг без особой связи, на вопрос о возможной передаче Церкви монастырских построек, Иван Петрович ответил:

— Видите ли, это сложный вопрос... Сложность, собственно говоря, в том, что возрождающаяся ныне Русская Православная Церковь может

стать пособницей вчерашних коммунистов. А точнее, тех, кто называет себя сегодня патриотами и борется за так называемое “возрождение России”...

Иван Петрович точно собак спустил. Через день уже все газеты кричали: “Православный иерей сотрудничает с коммунистами...”, “В городе запахло кострами инквизиции...”, “Смирному благочинному не дают покоя безбожники...”, “Жадность, нетерпимость, что дальше — антисемитизм?..”

Вокруг благочинного действительно кружилось много разных людей. Образовалось даже что-то вроде кружка поклонников, костяк которого составляли местные богомольные старухи, почитавшие отца Мануила за святого. Многие приходили за советом и наставлениями. Были и далёкие от веры люди, предполагавшие в благочинном духовного лидера будущего сопротивления.

Но, кажется, благочинный только страдал от своих поклонников. Хотя и принимал у себя всех желающих. Вероника Евграфовна рассказывала, как однажды под вымышленным предлогом отправилась к отцу благочинному. Наслышавшись о прозорливости и чуть ли даже не о чудесах отца Мануила, вознамерилась она лично удостовериться в правдивости слухов. Набравшись смелости, заявила как-то Вероника Евграфовна в благочиние и потребовала самого отца Мануила.

Её провели в приёмную, и не успела она толком оглядеться, как к ней вышел сам благочинный. Вероника Евграфовна оробела, увидев отца Мануила в штопаном коричневом подряснике. Благочинный благословил Веронику Евграфовну и спросил, что ей нужно. Но несчастная так растерялась, что позабыла выдуманную накануне причину визита.

— Я... батюшка... видите ли... — забормотала она, перебирая в уме всё, о чём можно было бы спросить. — У меня... сестра... то есть... у меня племянница хочет стать фотомodelью. Так уж вы помолитесь...

Благочинный нахмурился.

— То, о чём вы меня просите, сделать не смогу, — сурово сказал он, глядя в глаза Веронике Евграфовне. — Сердце человека — Престол Божий. А на Престоле Божиим нет места безблагодатным ценностям. И помните: кланяясь идолам преуспеяния, каждый из нас становится причастным к разрушению общества, ибо потакает разгулу разрушительных страстей. За племянницу вашу помолюсь, а вам вот ещё что скажу: любопытство ради любопытства — это грех пред Богом. Ибо сказано: не сообразуйтесь с веком сим, но сообразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия.

С этими словами он ещё раз благословил Веронику Евграфовну, и та, не чуя под собой ног, выскочила на улицу. Только дома она вспомнила, что намеривалась спросить у благочинного, стоит ли ей подавать в суд на своего соседа по даче, передвинувшего на сорок сантиметров забор вглубь участка самой Вероники Евграфовны. Но как бы то ни было, с того самого дня и Вероника Евграфовна сделала решительной обожательницей отца благочинного. Тем более что и с памятниками вышло по слову отца Мануила.

Благочинный не писал статей в газеты и не давал интервью, но всё складывалось именно так, как он предрёк Ивану Петровичу. Точно невидимая стена встала между некрополем и устроителями парка скульптур. Демонтируя, уронили памятник Ленину — самый большой и наиболее интересный в городе. Так что даже голова у вождя откололась и, говорят, покатила по мостовой. Памятник пришлось отправить на реставрацию, а дальнейшие работы, из-за непредвиденных расходов и нарушения изначального плана действий, решено было приостановить. К тому же фигуре Ленина предписывалось стать центральной и паркообразующей.

Случайное, казалось бы, совпадение. Но в городе с каким-то даже удвоением приписали это совпадение влиянию отца Мануила.

Был отец Мануил невысок, худ и сед. Власы и бороду имел жидкие с прозеленью — седина иногда отчего-то отдаёт в зелень. А между тем, Вероника Евграфовна убеждала нас с матерью, что “это же могучий старец” с пламенным взором и гремящим голосом. Вероятно, такое впечатление сложилось у Вероники Евграфовны под воздействием проповедей отца Мануила.

Проповеди свои благочинный произносил в храме. Не раз передавали их и по местному радио. Услышавшему впервые отца Мануила в самом деле не пришло бы и в голову, что голос принадлежит болезненному и чахлому старичку. Возможно, так сильно было впечатление от радиопроповедей, что и столкнувшись близко с отцом Мануилом, Вероника Евграфовна предпочла видеть в нём могучего старца.

— Любите врагов ваших, крушите врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими, — гремел из радиоприёмника отец Мануил, и редкий слушатель не стихал, предвкушая, что голос этот скажет именно то, о чём давно хотелось услышать. — Отечество ныне поругано, святыни попораны — всё отдано во власть жрецам новой религии. Новыми идолами стали Богатство и Слава, Успех и Комфорт. А смогут ли новая религия и новые идолы стать основой народной жизни? Нет! И не нужно обманывать себя. Нужно оглянуться и одуматься. Нужно оградить себя от потребительства, этой моровой язвы, от тряпок и побрякушек. В погоне за миражами, за мнимыми ценностями растрачиваются и обесцениваются подлинные основы народной жизни — идея соборности, идея духовной общности, произрастающие не из прав человека, а из общего служения и долга, служения Правде Божией как единственной абсолютной ценности. Служение Правде и самопожертвование возвышают человека и приближают его к Богу. А это, в конечном счёте, и есть смысл человеческой жизни...

Когда, бывало, слушала я отца Мануила, какой-то внутренний голос с восторгом кричал во мне: “Вот то, что тебе нужно!” Но тут же другой, насмешливый голос говорил: “Нет, не то. Со-о-всем не то...”

## V

Отпевать Марию Ефимовну так никто и не согласился. Зато какие-то доброхоты посоветовали Ивану Петровичу пригласить раввина. Иван Петрович подумал, но на раввина не решился. Пришлось довольствоваться гражданской панихидой.

Заниматься организацией поминок Иван Петрович поручил матери. Мать взялась за дело с энтузиазмом — из казны ей выдали денег, назначили помощников. Но когда уже арендовали зал в ресторане “Север”, когда оговорили меню и сервировку, вот тут-то мать поняла, чего ей всё это время не хватало.

Сёстры Ивана Петровича, Ольга Петровна и Татьяна Петровна, не принимали участия в организации похорон и поминок, обе они остались в стороне от всеобщей суеты. Но матери вдруг пригрезилось, что тётки должны были как-то особенно скорбеть о Марии Ефимовне и выступать первыми плакальщицами. Произошло это именно вдруг. До поры до времени мать ничем не выдавала своего недовольства и, скорее всего, не думала о тётках.

Не знаю, что именно напомнило ей о золовках, но в один прекрасный день она ославил их на весь город. Мало того, что они не рвут на себе волосы и не посыпают головы пеплом, так они ещё и не думают помочь с поминками! Заодно мать припомнила, как третьего года, проходя мимо дома тётки Ольги на рынок, она зашла поздороваться, а тётка Ольга не напоила её чаем.

С чаем вообще отдельная история. Как только матери хочется на кого-то обидеться, точнее, как только на неё находит приступ жалости к себе — эта похоть себялюбия, — и жребий падает на нового обидчика, мать первым делом вспоминает, что в какой-то момент ей не предложили чаю. “Обидчиков” у матери довольно много. И каждый в своё время не напоил её чаем. А уж чай-то она никому не спускает! Чай — это святое.

Тётка Ольга уже не раз отказывала матери в чае. И вот новый чайный скандал!

Очевидно, до тёток не дошли слухи о том, что они должны были скорбеть — и не скорбели, должны были хлопотать — и не хлопотали. Тётка Ольга, наверное, непрослительно забыла, как три года назад не напоила мать чаем. Словом, обе тётки явились на поминки как ни в чём не бывало.

Мать поздоровалась с ними холодно. Тётки сделали вид, что ничего не заметили. Равнодушные тёток раззадорило мать. И, не сомневаюсь, с той самой минуты ни о чём, кроме как об обиде, мать и думать не могла. Она здоровалась с гостями, переговаривалась, распоряжалась, но в каждом её жесте и взгляде, в каждой ужимке и интонации чувствовалась обида. И даже, когда стали произносить успокоительные речи, когда кутья и блины с икрой разошлись по тарелкам, мать всё не уставала показывать, что молчит только потому, что воспитание не позволяет ей высказаться. Наконец, она не выдержала и обратилась к сидевшему подле Люггеру:

— Кушайте, кушайте, Аркадий Борисович. Не стесняйтесь...

Но Люггер и не думал стесняться. Уж чего-чего, а поесть на дармовщинку иностранная братия умеет! Хотя... Если уж нам и предложить больше нечего...

— Вот блинов возьмите, Аркадий Борисович, — мать пододвинула к нему тарелку с блинами. Было видно, что ей очень хочется что-то сказать Люггеру, но она никак не решится начать.

Люггер благодарил и кушал с большим аппетитом.

— Любите блины-то? — простодушно поинтересовалась мать.

Люггер также простодушно закивал.

— Да-а... — вздохнула мать. — А ведь всё это я сама... — и она выразительно посмотрела на Люггера, точно спрашивая: “А как бы вы думали?”

Отмалчиваться дальше становилось неприличным, и Люггер был вынужден вступить в разговор:

— Как? — постарался изобразить он интерес и удивление разом. — Вы одна всё это приготовили?

— Да нет же! При чём тут приготовила! — мать, недовольная бестолковостью Люггера, нахмурилась. — Я одна всё организовала. Понимаете?

— А-а-а! — догадался Люггер. — Значит, вы... *manager*?

— Хм... Ну, пожалуй, менеджер, — согласилась мать. — Но главное... слушайте-ка... главное, что мне никто не помогал. Понимаете?

— О-о-о! Значит, вы... э-э-э... современная женщина?

— Да нет же! — мать снова нахмурилась. — При чём тут женщина... современная. Слушайте-ка... Всё это, — и мать провела рукой в воздухе, указывая на столы и на гостей, — всё это легло на мои плечи, — и мать ткнула пальцем себя в плечо.

Люггер скосил глаза на круглые материны плечи и закивал.

— У Ивана Петровича есть сёстры... две сестры, — мать показала Люггеру два пальца. — Ни одна из них мне не помогала... Да вот, посмотрите. Вон там, у правого стола в розовой кофточке... китайской... это Ольга Петровна. А рядом... такая блондинка... крашеная... это Татьяна Петровна. Ваша бабушка, Аркадий Борисович, очень любила Ивана Петровича. Очень! И, знаете, я тоже очень скорблю по ней. Очень! А Ольга Петровна и Татьяна Петровна... Вы знаете, как будто это их не касается! — и мать посмотрела на Люггера, точно спрашивая: “Каково?”

Люггер уловил вопрос и сочувственно качал головой.

— Слушайте-ка, — продолжала, осмелев, мать и даже доверительно дотронулась до локтя Люггера. — Пошла я на рынок... Тут у нас есть рынок... недалеко. Но он так себе... не очень. Ну, вы меня понимаете?

— Конечно, — отозвался Люггер и подавил зевок.

— Я хожу на дальний рынок. Это возле Ольги Петровны. Я хожу в молочный ряд. Творожок беру, сметанку...

— И Ольга Петровна с вами? — перебил её Люггер.

— Ольга Петровна? — мать даже обиделась. — Я зашла к Ольге Петровне проведать. Я всё-таки её родственница, Аркадий Борисович. И нет, чтобы сказать мне: “Проходи, Лида, садись, выпей чайку”... Она даже чаю не предложила!.. Наврала, что уходит. А куда ей идти-то? В воскресенье в школе выходной — она учительница. Ну, какие у неё дела в воскресенье? Хм... Да если бы у неё были дела, я бы давно знала! О чём вы говорите, Аркадий Борисович? — и мать возмущённо, как будто и Люггер был в чём-то виноват перед ней, махнула у него перед носом рукой.

Люггер в недоумении посмотрел на неё и часто замигал.

— О чём вы говорите, Аркадий Борисович! — продолжала возмущённо мать.

— Да я ни о чём... — начал, было, Люггер, но мать не дала ему договорить.

— А у меня, между прочим, дочь пианистка, в музыкальном училище, — мать кивнула в мою сторону, но Люггер даже глаз на меня не скосил, — и брат у меня в Новгородском театре играет.

— Вау! — лениво заметил Люггер.

— Да. И племянник у меня в Кувшиново вундеркинд. Двенадцать лет парню. И вообще, вы знаете, у нас у всех в семье очень сильная энергетика. Очень сильная! Моя мама — тоже в Кувшиново — до сих пор ещё! Вот если идут соседи ругаться — ведро с помоями и... сразу окатит! Такая энергетика!.. А Татьяну Петровну я вычислила, — она снова махнула рукой. — Она какие-то открыточки попам рисует. Я её в церкви видела с пачкой.

— Попам? С какой пачкой? — оживился Люггер.

— Я пришла в церковь и всё видела. Хотела подойти к Татьяне Петровне, а она меня заметила и спряталась за колонну. А потом — юрк к попам!.. Вот почему у неё денег-то нет!.. Аркадий Борисович!.. — мать наклонилась к самому уху Люггера, а для пущей убедительности положила свою пухлую, с остро отточенными перламутровыми ноготками руку на костлявое его запястье.

Наверняка в тот момент у Люггера закружилась голова или поднялось артериальное давление. А если бы он ещё немного послушал мать, думаю, он упал бы в обморок. Спас его, сам того не подозревая, Иван Петрович.

— Аркадий Борисович, — наклонился он к другому уху Люггера. — Аркадий Борисович, у нас так не принято!

— Простите? — переспросил, видимо, растерявшийся Люггер.

— У нас так не принято, — ласково повторил Иван Петрович, — Мария Ефимовна, как-никак, бабенька ваша. Здесь уж много про неё говорено. А вы — ничего. Нехорошо. И от людей неудобно. Надо бы помянуть бабеньку-то... Все дивятся — вы у нас человек особенный. А? Как вы?

— Я готов, — растерянно отвечал Люггер.

— Так я объявлю? — уточнил Иван Петрович.

— Да, да...

Матери, очевидно, не понравилось, что Иван Петрович вмешался и перebil её. Сделав опять недовольное лицо, она почти незаметно отодвинулась от Люггера.

— Господа, господа! — обратился Иван Петрович к собранию и даже ножом по стакану постучал. — Прошу внимания! Аркадий Борисович Люггер, правнук всеми нами любимой и оплакиваемой ныне Марии Ефимовны, хочет сказать несколько слов. Прошу вас, Аркадий Борисович!

Люггер, по примеру говоривших перед ним, поднялся, взял в левую руку стопку с водкой и повёл свою речь:

— Да, я хочу сказать несколько слов, — неуверенно начал он. Говорил он с лёгким акцентом, впрочем, не коверкая слов, — у меня уже есть впечатления в России, и я бы хотел о них... Ведь я только вчера приехал, и сразу впечатления... Я хочу сказать, что Россия меня немного удивила, — и, как мне показалось, Люггер покосился на мать. — Я родился в Америке, но дома у нас все говорили по-русски. А моя бабушка каждый день смотрит по телевизору русские передачи. Что я знаю или знал о России? Что это страна Ходорковского и Березовского, блинов, икры и водки, — Люггер, усмехнувшись, кивнул на стол, подтверждавший его представление о России. Все слушали с большим интересом. — Ещё Распутин, мафия, матрёшки, блондинки, революция и моя прабабушка, — здесь Люггер обворожительно блеснул зубной костью. — Ещё я знаю, что в России было много умных людей, которые все уехали за границу. Сначала, чтобы заработать денег, а потом все так и остались, чтобы просто нормально, по-человечески жить. И несмотря даже на то, что в России есть и нефть, и алмазы, возвращаться эти

люди не собираются. Это не только моё персональное мнение, так думают все люди на Западе. Но сегодня утром это моё мнение... оно сломалось... изменилось. Очень рано я был на кладбище. Я встретил там одну... э-э-э... персону. Это была очень простая женщина. Она стояла рядом с могилой. Я спросил, кто здесь у неё, и она рассказала мне свою историю. Это была могила её подруги. Они вместе были в тюрьме... в ГУЛаге. Её подруга была француженка, она вышла замуж за советского дипломата и уехала в Советский Союз. Ещё в тридцатые годы. Она была пианисткой и выступала в Москве. Но потом её и её мужа арестовали. Пятнадцать лет она провела в тюрьме...

— Вот олух-то, слушай-ка... — шепнула мне мать. — Про чужую бабу взялся рассказывать...

— ...Она вырезала клавиши на лавке, — продолжал Люггер, — и пятнадцать лет играла на лавке. Когда она вышла на свободу, мужа её расстреляли. Она была одна до конца дней. Жила в маленькой однокомнатной квартире. Могла уехать во Францию, но не уехала. Она говорила, что в тюрьме нашла что-то важное, что во Франции не смогла бы найти. И, признаться, я позавидовал, мне тоже захотелось найти это важное...

Люггер остановился перевести дух. Говорил он довольно медленно, оттого выходило весомо и убедительно. Кругом было тихо — слушали внимательно и даже с удовольствием. Некоторые то и дело кивали, точно соглашаясь или подбадривая Люггера. Русский человек либо обожает послушать про свою так называемую духовность и русскую душу, либо терпеть этого не может. Лично я отношусь ко второй категории, потому что меня просто бесят эти разговоры. Скажу больше, мне даже нравится говорить и думать в противном смысле.

История про пианистку-француженку была хорошо всем знакома. Кажется, эта француженка поселилась в нашем городе в конце пятидесятых. Мы с матерью как-то были на её концерте во Дворце культуры. Помню, я обратила внимание, что первый ряд был занят исключительно старухами. Старухи казались ветхими и потёртыми, но держались сурово, а музыку слушали с таким достоинством и серьёзным вниманием, как будто все до одной выросли на Рахманинове и не мыслили себя без его музыки. Мне показалось это смешным, и я спросила у матери:

— Это что? Культпоход дома престарелых?

Но мать одёрнула меня, объяснив, что старухи — подруги и сокамерницы нашей пианистки и что приезжают они на каждое её выступление.

Эта дружба, заквашенная на общих страданиях, произвела на меня впечатление. Я оставила смеяться. Помню, мне вдруг пришло в голову, что попала я не просто на концерт, где артисты развлекают праздных и скучающих зрителей. Перед нами развёртывалось нечто огромное, хотя и невидимое обычному глазу. И всё, что нам оставалось, — молча, с замиранием сердца и завистью внимать происходящему.

Несколько лет назад француженка умерла. Наверное, Люггер встретил на кладбище одну из тех её подруг, что я видела тогда во Дворце культуры. Кто знает, быть может, и впечатления его были схожи с моими...

Люггер собрался продолжить свою речь. Он оглядел всех — что-то грустное промелькнуло в его взгляде, — набрал воздуха в лёгкие, но в эту самую минуту среди всеобщей тишины по залу разнёсся тихий, но совершенно отчётливый стон. В следующую секунду дверь медленно, как от лёгкого прикосновения растворилась, и в зал, шаркая по-стариковски ногами, вошёл Абрамка.

Завидев его, Люггер замер с выражением такого ужаса на лице, точно увидел не убогого мальчика-дурачка, а, по меньшей мере, разверзшиеся врата ада. Абрамка уставился на Люггера своими водянистыми глазками и проныкал:

— Явился мессия народу Божию! Посетил Господь чад своих в изгнании!

Люггер вздрогнул, так что водка выплеснулась на стол, и тяжело опустился на скамью. Абрамка повернулся и, шаркая ногами, скрылся за дверью.



## VI

Абрамка — это мальчик-дурачок из пригородного интерната. Откуда он и кто его родители, я не знаю. Худосочный и золотушный, с белёсыми, водянистыми глазками, с жиденькими, бесцветными волосёнками, несколько лет назад он стал известен у нас каждому. Без штанов и босой, в длинной ночной рубахе появился он однажды в городе и огласил его стогны непонятным бормотанием. Лично я не могла разобрать, что он там бормочет. Но Иван Петрович с самого начала утверждал, что Абрамка говорит следующее:

— Оставил Господь чад своих в рассеянии!.. Взывает к Богу народ его!.. Народился пророк Израиллю!..

Помню, я тогда же сказала, что не вижу никакого смысла в этих словах. И тогда же все, кто окружал меня, стали смеяться: какого, дескать, тебе ещё смысла у дурачка искать! Но, кажется, Иван Петрович был прав: Абрамка действительно бормотал всю эту ерунду. Хотя, может, все мы только решили, что говорит он именно эти слова, да так и слышали — по внушению.

Первое время ночью и днём, по улицам и площадям бродил он, словно тень, и стонал, пока не задержали его и не выяснили личность.

Нетрудно вообразить, какое впечатление произвела эта фигура на горожан. Видевшие его впервые останавливались в оцепенении прямо посреди улицы. Мало-помалу собиралась толпа и ходила за ним по всему городу. Слова, да и самый вид его внушали почти мистический ужас. В белой, с полинявшими цветками рубахе походил он на юродивого в рубище. А слова звучали грозным пророчеством. Кто научил его? Где он мог слышать об этом?

Выяснилось, что зовут его Вася Нагой, а от роду ему одиннадцать лет. Его отправили обратно в детский дом, и, спустя какое-то время, в городе о нём позабыли.

Но он напомнил о себе, появившись опять на улицах всё в той же рубахе и с похожими словами на устах. Тогда-то, заметив его, кто-то крикнул:

— Гляньте, Абрамка!..

С тех пор прозвище пристало к нему.

Его снова отправили в приют, но вскоре он опять бродил по улицам и стонал:

— Оставил Господь чад своих в рассеянии!..

Говорил он загадочными, как будто библейскими фразами. На вопросы не отвечал и, кажется, даже не понимал их смысла. Бывало, он устраивался под чьими-нибудь окнами и хныкал:

— Водички... Дайте Васе водички...

Ему выносили воду, он молча принимал и выпивал всю без остатка.

Слов его никто не понимал, но некоторые уверяли, что это пророчества. Вероятно, облик его производил завораживающее впечатление. Могло показаться, что Абрамка непрерывно размышляет о чём-то, недоступном разумению прочих смертных. И что известно ему нечто такое, о чём не дано узнать более никому. Эта тайна, ореолом висевшая над Абрамкой, эта его недоступность и непостижимость внушали к нему особое отношение, вобравшее в себя все оттенки, от жалости до уважения, до чувства вины и даже до священного ужаса.

В городе даже полюбили Абрамку. Его оставили в покое и стали отправлять в приют только на зиму. Зимой он не приходил в город, но чуть только стаивал снег, как он являлся. Говорят, его особенно полюбил благочинный — будто бы Абрамка напоминал отцу Мануилу блаженного брата.

Абрамку, точно хорошенького зверька, стали прикармливать прохожие; случалось, он заходил в ресторан. Над ним смеялись и спрашивали, чем он собирается платить, но потом отводили на кухню. Видимо, в одно из своих посещений ресторана он и оказался в зале, где шли поминки. Во всяком случае, никто из ресторанных не задержал его. А может, и специально подослали, для смеху.

Зал, который арендовала мать для поминок, находился не в главном корпусе ресторана. Это был небольшой бревенчатый домик, избушка в русском стиле. Вход с улицы был отдельный. Для посетителей избушку открывали только летом. Было здесь уютно, хотя и банально: на стенах висели хомуты, коромысла и полки с глиняными горшками. В одном углу стояла прялка, в другом — чучело бурого медведя. Под окном на лавке красовался огромный самовар. Длинные тяжёлые столы располагались буквой “П”, по внешней стороне которой тянулись скамейки.

Наверное, такой зал больше годился для свадеб, чем для поминок. Но, думаю, мать нарочно из-за Люггера выбрала избу. Хотелось попотчевать гостя экзотикой.

Надо сказать, ей вполне это удалось. Абрамка перепутал Люггера на смерть. Первое время никто не мог опомниться, все точно оцепенели. А потом вдруг поднялся гвалт. Все вскочили со своих мест, началась перебранка, каждый обвинял в чём-то остальных, странно, как не дошло до драки.

— Кто его пустил сюда? — кричал Иван Петрович. — Как он сюда попал? Это официальное мероприятие, приглашены иностранные гости! Как мог попасть сюда этот... уродливый? Лидия Николаевна, — обратился он к матери, — кажется, вы занимались организацией мероприятия? Почему не обеспечена охрана? Зачем вообще нужно было арендовать этот зал?

— Я?! — мать даже побледнела. — Да я... я одна здесь всё!.. На своих плечах!.. — она вскочила и уже размахивала руками. — Мне же никто!.. Никто не помогал! И ваши сёстры, Иван Петрович!..

— Ну, начинается... — тихо, но так, что все расслышали, сказала Татьяна Петровна.

— Да, Таня, начинается! — обрадовалась мать. — И кончается! Мне никто из вас не помогал! Всё одна!.. Всё одна!.. Ладно, когда вы мне с ребёнком не помогали сидеть — понятно, не ваша кровь. Но Марию Ефимовну вы не почтили... Такие вещи, Таня, не забываются и не прощаются!..

Почему они должны были со мной сидеть, что за почести должны были воздать Марии Ефимовне и какое отношение к этим почестям имела мать — на эти вопросы нет ответов. Это всего лишь поводы для обид. Думаю, в жалости к самой себе мать находит особое, извращённое удовольствие, которое не променяет на целый ряд других. Странно, что никто до сих пор не понял этого.

— Какие вещи, Лида! Да ты о чём говоришь-то? — вмешалась Ольга Петровна.

— Ты со мной, Оля, так не разговаривай! — закричала мать. — Ты меня даже чаем не напоила!

— Каким чаем, Лида?!.. Господи! Да откуда ты берёшь всё это?!..

А Иван Петрович, тем временем, отчитывал за что-то бухгалтера. Директор музея пеняла отделу образования, что дети разбегаются из приюта. Шум поднялся такой, что, казалось, все ругаются со всеми. В это самое время ко мне подошла Лиза и тихо сказала:

— Пойдём отсюда?

## VII

Предложение Лизы я приняла с удовольствием: сцена в избе становилась отвратительной, к тому же Лиза была мне интересна. Но главное, что я была интересна Лизе. И отчего это так бывает? Стоит лишь новому человеку сделать шаг в мою сторону, как я уже мечтаю о самой искренней и непосредственной дружбе с ним. В какие-нибудь секунды я успеваю нафантазировать, как хорошо мы вместе проводим время, как прекрасно и всем на зависть ладим друг с другом, как легко мы находим общий язык. Но стоит мне, в самом деле, сблизиться с кем-то, как мечты разбиваются и превращаются в прах. Не желая мириться с чужими недостатками или чудачествами, я с какой-то даже злой радостью возвожу из них стену. И тот, за кого я в мечтах своих готова была отдать жизнь, становится вдруг жалок и отвратителен. И уж не то, что жизни, а и пяти минут бы ему не отдала.

Вспоминая все тогдашние события, я не могу не признать, что по ходу общения с Лизой во мне зародилось и постепенно вызрело желание насолить ей. И это с одной-единственной целью — поставить её на место. Другими словами, мечта о дружбе довольно быстро выродилась в свою противоположность.

Лиза показалась мне лживой. Именно лживой, поскольку не могла я допустить и принять того, в чём она пыталась меня заверить.

Но всё это было потом. А пока я сочинила историю нашей возможной и даже обязательной дружбы. Сначала мы просто сойдёмся на каком-нибудь вопросе, и нам станет интересно вместе. Мы будем говорить и не сможем наговориться. Потом я сделаю для Лизы что-то очень хорошее, например, подам ей необходимый совет или одолжу денег, а брать назад не захочу. Мы будем секретничать и всё решать сообща. Только это будет не сразу — ведь должно пройти время, чтобы наша дружба настоялась.

Когда-то очень давно и совсем недолго мы с Лизой жили под одной крышей. Потом мать увезла её, и с тех пор мы не виделись. Несмотря на то, что мы были знакомы, времени прошло довольно, и мы стали чужими. Это обстоятельство, по всей видимости, и мешало нам разговориться на первых порах. Было бы проще, если бы мы виделись впервые, — вопросы отыскались бы сами собой, а молчание не казалось бы неловким. Но мы только украдкой рассматривали друг друга, улыбались, встречаясь взглядами, и всё не решались заговорить.

Никто не заметил, как мы ускользнули с поминок.

— Пешком? — спросила я Лизу уже на улице.

Лиза молча кивнула.

Это был первый по-настоящему жаркий день в ту весну. Не успев прогнуться, земля, асфальт и камни не выбрасывали излишки жара, от которого плавится воздух и пересыхает гортань у живых существ. Солнце не изнуряло и не казалось жестоким, не знающим пощады, глумливо ухмыляющимся врагом, но было добродушным, весёлым другом.

Путь наш был недалёк. А идти предстояло по разбитому узкому тротуару, вдоль которого с одной стороны тянулась мостовая, с другой — бестолковые заросли акации, жёлтые цветы которой не радуют ни зрение, ни обоняние.

Разглядывая Лизу, я заметила, между прочим, что она не сильно изменилась. Обратила внимание и на сильное сходство с отцом — Иваном Петровичем. Такое же круглое лицо, такие же мягкие светлые волосы. Маленькие серые глазки глядят лукаво, при этом толстые, от уха до уха губы придают всему лицу какой-то простой и глуповатый вид. Впрочем, в лице Лизы оказалось гораздо более благодушия.

Я видела, что Лиза хочет спросить меня о чём-то, но не знает, с чего начать. Мне вообразилось, что я догадываюсь, о чём именно ей хотелось узнать. И, довольная своей проницательностью, я забавлялась борьбой её любопытства и деликатности. Наконец, мне это прискучило, да и Лизу захотелось сразить прозорливостью.

— Ты хочешь спросить про этого мальчика? — обратилась я к Лизе.

Лиза прищурилась и одновременно с этим подняла брови.

— Какого мальчика? — переспросила она.

— Того, что приходил сейчас в ресторан. Из-за которого всё началось там...

Лиза, рассматривая носы своих простеньких серых туфель, тихонько рассмеялась.

— Ну, и что это за мальчик? — спросила она, не глядя на меня.

— Это Абрамка, дурачок. Он в приюте живёт... в детском доме для детей с задержками развития... — и я рассказала Лизе историю Абрамки. Мне очень хотелось поразить Лизу, произвести на неё впечатление. Я говорила и время от времени заглядывала ей в лицо. Лиза слушала меня спокойно, только раз или два подняла брови.

— Я хотела о папе спросить, — сказала она, когда я закончила.

И точно холодной водой меня окатила. Мне не удалось удивить её — Абрамка был ей неинтересен. Но вместо того, чтобы сказать о том прямо, она

заставила меня разливаться соловьём, чтобы затем насмеяться. Мне стало стыдно собственного рвения.

— Ну, и что же папа? — спросила я холодно.

— Как-то странно... — вздохнула Лиза. — Смотреть на него тяжело. Мучается он, что ли...

— Мучается?! — я так удивилась, что забыла о своей давешней обиде. — Это Иван-то Петрович мучается? Мается — я бы ещё поняла. Но что бы мучиться...

— Мается? — тревожно переспросила Лиза. — Как мается? Почему?

— Да потому что... потому что для людей вроде нашего Ивана Петровича естественным было бы плодиться и работать в поте лица. Но они на такую основательную малость не согласны. Вот и чудят... — я завелась, потому что всегда завожусь, когда говорю об Иване Петровиче. К тому же предоставлялся случай уколоть Лизу, и я просто не могла упустить этого случая. — Вот если попробовать представить разных людей в характерных для них позах... ну, или... за характерными занятиями, что ли... так Иван Петрович представляется мне в масонском фартуке. Или что-нибудь в этом роде.

— Почему? — испугалась Лиза.

— Почему? Да потому что ему бы очень пошло членство в каком-нибудь тайном обществе. Знаешь, такая кипучая бестолковость и чванство... Да, — мне и самой стало забавно, — Иван Петрович вполне сошёл бы за масона. Если бы в своё время не был комсомольским работником.

— Разве он такой? — подавленно спросила Лиза.

— Какой “такой”?

— Ну, такой... пустой, — неохотно выговорила Лиза.

— Почему сразу “пустой”? — мне стало жалко Лизу — столько лет не видеть отца и вдруг узнать, что это пустой и никчёмный человек.

— Потому что... — солидно и основательно, точно это было плодом долгих и трудных её размышлений, проговорила Лиза, — потому что, кто любит тайны, тот замышляет злое. Тайна думает, что одна знает истину, и всегда воюет с традицией. На самом деле, это покров пустоты. Это самообман для немощного духа, это... это пища для голодного тщеславия.

— Хм... — меня насмешили и удивили Лизины формулировки. — Похоже...

— Но, если похоже, то он действительно мучается! — воскликнула Лиза.

— Да с чего ему мучиться?! — разозлилась я. — Катается как сыр в масле... Мученик тоже...

— Человек, зло творя, всегда мучается, — тихо проговорила Лиза.

— Ну, не хотел бы — не творил, — пробурчала я.

Помолчали.

— Ангел пролетел, — сказала вдруг Лиза.

— Что?

— Когда вот так внезапно все замолчат, говорят, что это ангел пролетел.

— А-а-а...

— А что, он тайны любит?

— Кто? Ангел твой?

— Да нет, папа!

— Очень любит. Вот Люггер, например. Только приехал — уже тайны. Да и как засуетился-то!.. Противно...

— Ну, Люггер — это не тайна, — засмеялась Лиза с каким-то облегчением. — Люггер — это Америка. Это папа перед Америкой заискивает.

— Да денег он ищет на свои дурацкие прожекты! — разговор об Иване Петровиче начинал мне надоедать, Лиза стала казаться скучной. — Лучше бы поучился у американцев их зарабатывать.

— Почему надо у них учиться? — искренне удивилась Лиза.

— Потому что Америка — страна свободы, и Нью-Йорк — столица мира... — нарочно выдала я.

— А я — королева Луны, — захихикала Лиза.

Я хмыкнула, хотя эта невинная шутка почему-то неприятно задела меня. А Лиза не унималась.

— Какая же там свобода? — весело спросила она, точно заигрывая.  
— Обыкновенная... — лениво ответила я.  
— Такая же свобода, как их статуя — слепая, рогатая, на воде стоит. Хи-хи-хи... А ещё я слышала, у них есть бык золотой.

— Бык золотой?!

— Ну да. “Быки” — это что-то такое на бирже. Так вот, у них возле биржи... или как это у них называется?

— Если биржа, то так и называется — биржа, — огрызнулась я.

— В общем, доуджонс какой-то, — Лиза опять глупо захихикала. — И там у них стоит фигура быка. Памятник такой... скульптура. И они с ним на счастье фотографируются.

— Ну, и что тут такого? — я разозлилась. — Кто-то монетки в фонтан бросает, кто-то с быком фотографируется. Что тут такого?

— Да ведь это же образ! — удивилась Лиза.

— Какой ещё образ? — меня взбесило, что Лиза точно удивляется моей бестолковости.

— И Свобода, и Бык — это же образы! Слепые вожди слепых — это раз. Золотой Телец, которому они кланяются, — это два. Вот тебе и вся Америка! Хи-хи-хи...

— Америка — это сила, — опять назло Лизе объявила я.

— Ты, значит, тоже силу уважаешь? — погрузнев вдруг, спросила Лиза. Меня удивляли эти скачки её настроения.

— Почему — тоже?

— Как папа... — тихо сказала Лиза. — Он ведь тоже силу уважает?

— Очень может быть. И что в этом плохого?.. Все уважают силу. Ты вот разве не уважаешь?

— Я? Нет...

— А что же ты уважаешь? — усмехнулась я.

— Правду, — тихо сказала Лиза.

— Ой... Ну, конечно! — мне вдруг показалось, что я с самого начала ждала, что Лиза именно о чём-нибудь в этом роде заговорит. — Конечно! Я так и знала... Это же пошло, Лиза!

— Что пошло?

— Все эти слова... про силу и правду... Сколько уже говорено! Есть такие трескучие фразы, типа... “рукописи не горят” или про слезинку ребёночка... Надоело! Надоело это фальшивое умиление! И про Бога... Ну какой может быть Бог, Лиза, если в Него никто не верит? У Него электората нет! Я вот, например, ни одного праведника не видела за всю-то жизнь... Знаешь, все эти руководители со свечечками... И Церковь... Церковь сегодня — это коммерческая организация...

— Ну, раз мир стоит, значит, и праведники где-то живы... — оборвала меня Лиза. — Хотя... ты права... не по правде теперь люди живут...

— А как теперь живут? — усмехнулась я.

— Кто по уму, кто по плоти, — вздохнула Лиза, не замечая моей усмешки. — А по сердцу, по правде — почти никто. Вот была я в одном монастыре... Все думают, что у них там праведники собрались. А я такого там насмотрелась... — и Лиза тихонько захихикала. — Одна прихожанка, знаешь, например, как молится? “Господи, — говорит, — пошли мне искушения богатством и славой!” — и Лиза снова тихо-тихо захихикала. — Сёстры-то её осуждают, а мать Евлалия — та почти презирает и ругается. А сама про благодетеля одного рассказывает: “У него свой банк!” И так это гордо рассказывает, точно это её банк-то. А я возьми да и спроси: “Уважаете, матушка, ростовщиков-то?” Она и замолкла. И обиду на меня с тех пор затаила... Но это не значит, что правды нет!

Признаться, всё, что Лиза наговорила, показалось мне сущим бредом. Потому я решила переменить тему.

— И всё-таки непонятно, что плохого в Америке...

— То, например, что Америка и большевизм — это одно и то же, — спокойно, как о чём-то само собой разумеющемся, объявила Лиза, несколько при этом не смутившись переменной темы.

— Как это?! — опешила я.

— Да так... Всё мечта о лучшей жизни. А главное — с прошлым по-  
рвать и с восторгом ждать светлого будущего. В этом их закон и пророки.  
В это все верят...

— Ты хочешь сказать, что Иван Петрович... — перебила я Лизу.

— Папа пустоте служит, — сказала Лиза, уставившись себе под но-  
ги, — и всегда служил. А пустота — это когда новый человек торжествует.  
А разве важно, кто этот новый человек? Важно, что ненависть к старому... — она не закончила фразы.

— К старому человеку? — усмехнулась я.

— Нет. К старому вообще. К старым традициям.

— А Люггер? — мне захотелось сбить её с толку. — Красивый, улыб-  
чивый...

— Потому и улыбается, что суда боится, — отвесила Лиза.

— Какого ещё суда?

— Суда... — Лиза поддела носком какую-то жестянку, и жестянка  
с грохотом покатила по тротуару. — Они там в Америке отношения в су-  
де выясняют...

— Ну, и что? Пусть выясняют...

— Это прибыльно, но не нормально.

— Это цивилизованная форма общения...

— Это пустота, — глядя куда-то в сторону, сказала Лиза.

— Почему?

— Это против традиции.

— И какой же? — усмехнулась я.

— Весьма унижительно иметь тяжбы. Гораздо лучше оставаться обижен-  
ными и терпеть лишения...

— Ты это серьёзно?..

— Да...

К счастью, мы уже пришли.

— Ты куда сейчас? — как можно более беззаботно спросила я у Лизы.

— К себе в избушку... — Лиза вздохнула.

Мне показалось, что она окончательно разочаровалась во мне. Впрочем,  
так же, как и я в ней.

## VIII

По приезде Лизы Иван Петрович долго не мог договориться с сёстрами,  
у кого Лизе суждено остановиться. Иван Петрович требовал считаться с от-  
цовскими правами, но Ольга Петровна и Татьяна Петровна всячески давали  
понять, что в одном доме с моей матерью Лизе может показаться неудобно.  
Согласились на том, что Лиза остановится в нашем флигеле. Флигель — это  
громкое название сарая, сидевшего, как старый гриб, под огромной берёзой.  
Когда-то до отказа набитый разным хламом, стараниями матери сарай был  
переоборудован.

Что только не хранилось в нашем сарае: обрезки досок, ржавые вёдра  
и лопаты, сломанный садовый столик, старые куклы и велосипеды, казалось,  
здесь разместился археологический музей. Но однажды у кого-то в гостях  
мать увидела летний домик и загорелась устроить у себя такой же. Хлам не-  
медленно был препровождён на свалку, стены сарая обили вагонкой, крышу  
перекрыли, полы перестелили. Снаружи домик выкрасили тёмно-зелёной  
краской, поставили небольшое крылечко с перильцами, к белому оконцу  
прицепили резной наличник, заказанный матерью у какого-то местного  
умельца. И сарай стал флигелем.

Мать сама с удовольствием жила в нём. А однажды поселила там сво-  
его троюродного брата из Новгородской драмы. И непонятно было, зачем она  
его пригласила: не то хотела предьявить городу, не то убедиться, что фли-  
гель и впрямь нужен.

Мне кажется, первое время мать была благодарна Лизе за то, что та  
квартировала во флигеле. Тем более, что в дом Лиза являлась только к столу.

Я же впервые оценила преимущества флигеля, когда Лиза исчезла за его дверью сразу после нашего разговора.

Мать была уже дома.

— Наконец-то... — суетливо и с каким-то деланным недовольством встретила она меня в сенях. — А где... где Лизунька-то наша?

— Где ей быть? — огрызнулась я.

Меня покорило от этой “Лизуньки”. Свою мать я знаю наизусть. Иногда мне делается противно, оттого что я так хорошо её знаю. Лучше бы мне вовсе не знать её права — нам было бы легче существовать рядом.

Этот тон, эта нарочитая ласковость и деловитость означают, что мать, точно паучиха, надумала втянуть новую жертву в свою паутину. Выбор её пал на Лизу. Сначала, только подбираясь, она будет льстить и лицемерно ласкать Лизу. Она станет перехваливать достоинства и оправдывать недостатки. Потом она станет жаловаться Лизе, потом попытается заставить её обругать или высмеять тёток. Потом, когда сочтёт, что дело сделано, ткнёт Лизой в глаза Ольге Петровне. Кончится же этот припадок тем, что и Лиза попадёт в разряд злейших врагов, и мать покажет всему миру доказательства смертельной обиды. Скорее всего, мать явится во флигель в самый неподходящий момент, а после выяснится, что Лиза не напоила её чаем.

Свою жизнь мать превратила в беспрерывную склоку. Наблюдать за этим — сущее проклятие. Я не сомневалась: суетится она, изображая недовольство, только потому, что довольна ссорой в ресторане. Выходило, что день не зря прожила. К тому же предвкушает новую ссору, в которую втянет Лизу.

Мать — та самая бодливая корова, которой Бог рог не дал. Она не понимает, что, сотрясая воздух, досаждаёт своим золовкам не более, чем стайка мошкеры в жаркий день.

Лично меня больше всего угнетает скука, навеваемая этой бестолковой суетой.

— Слушай-ка... давай... давай сбегай за Лизунькой... обедать будем, — не унималась мать. — Сейчас Иван Петрович придет... давай... сбегай. Хотя... Илья там пришёл... иди уж. Сама за Лизунькой сбегаю...

Меня снова покорило. И я пожалела, что Ильи в ту минуту не оказалось рядом. Вот бы на глазах у матери положить его руку себе на грудь и впитать ему в губы! Это сбило бы с матери её бестолковую радость. Но поскольку Ильи не было рядом, мать безмятежно отправилась за Лизой. Мне же ничего больше не оставалось, как идти в свою комнату, где ждал меня Илья.

На вопрос “кто такой Илья?” мне трудно ответить. Пожалуй, самый точный ответ был бы таким: “Илья — это моя болезнь”. Более всего на свете я хотела бы избавиться от привязанности к нему. Я не хочу любить его, но ничего не могу с собой поделать. Я больна этим человеком.

Я знаю его всю жизнь — в школе мы учились вместе. И всю свою жизнь я то ли люблю, то ли ненавижу его.

Я обратила на него внимание во втором классе. На уроке родной речи. Кажется, это именно так называлось. Нашей первой учительницей была нервная, экзальтированная дама. Объясняя нам как-то правописание безударных гласных, она в числе непроверяемых ударением слов привела слово “работа”. Дети приняли пример на веру. Но Илья поднял руку.

— Слово “работа” можно проверить словом “раб”, — объявил он.

Не знаю, хотела ли она сохранить лицо и обратиться неосведомлённостью в преднамеренность. Хотя сложно представить, чтобы она в самом деле не знала того, о чём догадался пытливый второклассник. По-моему, она была вполне искренна, когда ответила ему:

— Конечно, Илья. Но не будем проверять такое слово, как “работа”, таким словом, как “раб”!

И даже глаза у неё заблестели. Бедняжка, наверное, не видела разницы между “работать” и “трудиться”!

Зато я увидела разницу между Ильёй и остальными. С того самого дня я стала считать его умным. А прошло всего лишь несколько лет, и я стала

считать его красивым. Он действительно был хорош, было в нем что-то от Печорина: светлые волосы, чёрные брови. Однажды, кажется, в седьмом классе мы встретились с ним глазами. С тех пор и пошло.

Пока мы учились, мы не “ходили” и не “гуляли”, как это тогда называлось. Мы никогда не целовались и не держались за руки — между нами ничего не было. Но каждый раз, подходя на перемене к закрытой двери класса, рядом с которой мы в ожидании учителя бросали портфели и сумки, я первым делом отыскивала глазами его сумку. И при виде этой убогой кошелёчки из синего кожзаменителя в груди у меня что-то такое сжималось, а в висках начинало стучать.

Взгляды — вот всё, что было тогда. Иногда мы впивались друг в друга глазами, потом, зардевшись, отворачивались в каком-то изнеможении. И клянусь! Было это во сто крат сильнее того, что я узнала потом.

В старших классах он придумал забаву: у меня на виду любезничать, сколько позволял этикет тогдашнего подростка, с другими девицами. Вот так приобнимет раскрасоточку за талию, а меня забрасывает взглядами. И чего только не было в этих взглядах: насмешка, превосходство и даже презрение. И как же я ненавидела его в такие минуты!

После школы он уехал учиться. За несколько лет он не написал мне ни одного письма и ни разу не позвонил. Но я всегда знала: он думает обо мне и однажды, когда я не буду ждать, он появится. Так и вышло.

Помню, стоял сентябрь, и темнело рано. Я сумерничала. Вдруг кто-то стукнул в моё окно. Сначала я подумала — ветер. Но в ту же секунду, сама не понимая, почему, затрепетала. Не включая света, я припала к стеклу. Молча распахнула я створки. Руки мои тряслись. Он, впившись в меня глазами, молча бросил в комнату пёстрый букет астр. Цветы упали на пол, и я тут же забыла о них. Через несколько мгновений Илья был в комнате. Ни слова не говоря, он подошёл ко мне. Я почувствовала, что он дрожит. От него пахло сырой осенней ночью и астрами.

К утру, когда Илья уходил от меня, букет, оставшийся всё это время на полу, пожух.

С той поры Илья почти каждый день приходит к моему окну. Мне нравится считать себя его любовницей. Сначала это казалось мне романтичным, потом пошлым. Но, как ни странно, пошлость может быть более привлекательной, чем романтика. Что такое романтика? Один пшик. Но в пошлости, в пороке можно найти вязкое, почти неистощимое наслаждение, можно испытать неизвестную раньше свободу.

Илья пошёл. Я знаю, что он мелочен и обидчив, мстителен и злопамятен, скуп и самоуверен. Он уверен в своём превосходстве надо мной. Ему нравится, чтобы я спрашивала и с глупым видом выслушивала его бестолковые ответы. Иногда я подыгрываю, и тогда всё заканчивается нашей ссорой, потому что я сама довожу себя до приступа бешенства.

Я заранее знаю всё, что он скажет, и безошибочно угадываю выражение его лица и даже порядок слов. И это невыносимо! Меня до конвульсий бесит его предсказуемость. Я мечтаю, чтобы он сказал что-нибудь невпопад или выкинул какое-нибудь коленце. Но, грубый, он не опрометчив. Едва ли он способен преступить какую-нибудь заветную черту, даже и сильно желая этого.

Но в то же самое время я хочу думать, что он широк и благороден. Именно таким я люблю его. Но он упорно не желает походить на мою фантазию. И даже, по-моему, презирает типаж, который я в мечтах натягиваю на него. А потому я таю от любви, когда его нет рядом. Я растворяюсь, когда он молчит. Но стоит ему открыть рот, как он делается мне неприятен, и я невольно начинаю ненавидеть этого самодовольного идиота. Потому что вижу перед собой одно тупое самодовольство, а за ним — скольжение по верхам, отрицание непонятого, видимость логики и неудержимое резонёрство.

Но меня неистощимо влечёт к нему. Влечение! Этот грубый, жирный чертополох с резким запахом невозможно смять или вырвать. Но любовь хрупка, как нежные астры. Рядом с настоящим Ильёй любовь к придуманному мною Илье вянет. Но неизменно расцветает, стоит ему исчезнуть. Уходит настоящий, а выдуманный остаётся в моих мыслях и снах. Я начинаю



скучать, я хочу ласкать и ласкаться. И когда появляется настоящий, я, в венке из чертополоха и астр, не в силах прогнать его.

Иногда я ловлю себя на мысли, что хочу его смерти. Эта мысль пугает и привлекает меня. И порой, как надоедливая мелодия, подолгу не оставляет в покое.

Не знаю, что ждёт нас дальше. Он уже предлагал мне выйти за него замуж. Но мне отчего-то неприятно думать об этом. Наверное, это было бы уж слишком пошло, настолько, что я бы не вынесла.

## IX

К обеду приехали Иван Петрович с Люггером, мать привела Лизу, вышли в столовую и мы с Ильёй. Те, кто не был знаком, перезнакомились, пожали друг другу руки, и все уселись за стол.

Сначала всё было очень торжественно. Мать выглядела довольной чрезвычайно. Люггер методично уплетал всё, что ему предлагали. Иван Петрович не сводил умилённых глаз с Лизы, то кивая, то подмигивая ей. Лиза смущалась и отводила взгляд. Илья старался держаться дружелюбно.

Обычно мы обедаем на кухне, но по особо торжественным дням мать накрывает в комнате. Кроме моей спальни и спальни матери и Ивана Петровича, у нас есть общая комната, которая служит столовой, гостиной, библиотекой и любыми другими возможными помещениями. Иван Петрович намеревается выстроить новый дом — для того, видно, и избирался. Но пока не приступали и к закладке.

Обед наш, в расчёте на Люггера, был особенный, то есть не такой, как подавался матерью обычно. Мать ещё загодя хлопотала на кухне: тушила мясо, процеживала бульон, месила тесто. Готовит она сама и с удовольствием, никого не подпускает помогать — стряпня всегда была предметом её гордости.

— Кушайте, кушайте... — предлагала она кому хлеба, кому добавки, а кому приправы. — Кушай, Лизунька... Вот... кетчупу возьми к мясу... возьми, возьми!

— Спасибо, — ответила Лиза, — кетчупа не ем.

Она произнесла эти слова тихо, но с такой неожиданной и не идущей к месту твёрдостью, что все притихли и уставились на неё почти с испугом. Только Люггер продолжал безразлично поглощать свой обед.

— Тебе нельзя? — заботливо поинтересовалась мать.

— Это... по соображениям здоровья? — почти в то же время заволновался Иван Петрович.

— Нет, — спокойно ответила Лиза, — это, скорее по... — она задумалась, беззаботно и забавно скосив глаза, — по моральным соображениям.

И снова все испугались.

— Ты не ешь кетчуп по соображениям морали?! — не утерпел Илья. — А что... — он усмехнулся и оглядел всех, как бы приглашая посмеяться, — что аморального в кетчупе?

Лиза шаловливо рассмеялась.

— Да ничего... просто мне не нравится, когда из меня делают... дуру.

Мы переглянулись. Даже Люггер оторвал глаза от тарелки.

— В Америке очень любят кетчуп, — сказал он, обращаясь к Лизе, как к ребёнку, которому ставят в пример соседского мальчика.

— Лизавете Ивановне Америка не указ, — вставила я.

Лиза, казалось, меня не расслышала.

— Расскажи нам, Лиза! — вмешался Иван Петрович, заволновавшийся, очевидно, о впечатлении, производимом Лизой. — Расскажи, нам непонятно. Это... это всем интересно. Что за соображения у тебя такие... насчёт кетчупа?

— Ну, я просто считаю, — охотно начала рассказывать Лиза, — что каждая вещь — это послание. А что, например, мне хотят сказать вот этим соусом? — она взяла со стола бутылку. — То, что осуществилась мечта о свободе, равенстве и братстве. И что я, наравне с французскими королями, могу вкушать соусы.

— Ты динамит, Лиза, — фыркнула я.

Все молчали и смотрели на Лизу с каким-то ужасом. Столь глубокомысленные рассуждения относительно кетчупа привели всех в недоумение.

— Ну, и что же плохого? — опомнился Илья. — Вкушай себе...

Лиза улыбнулась снисходительно.

— Знаете, — обратилась она к Илье, — пиво называют “шампанское пролетариата”. Вот и кетчуп...

— Кетчуп, видимо, “соус пролетариата”? — отозвался Илья.

— Соус... хороший соус — это сложное блюдо, его долго готовить.

— Да! — встала мать, обрадовавшись знакомой теме. — Соус приготовить непросто.

— А все эти доступные радости и дешёвые удовольствия, — продолжала Лиза, — только создают иллюзию полноценной и обеспеченной жизни. И всё это очень плохие признаки...

Лиза словно и не замечала, какое впечатление успела произвести.

— Но почему же ты так считаешь, Лиза? — разволновался Иван Петрович.

— Кетчуп — это имитация, — повела плечом Лиза. — Это как фальшивый бриллиант.

Такое сравнение позабавило. Люггер блеснул улыбкой. Илья расхохотался.

— Ну, Лизунька... — погрозила мать пальчиком.

— Можно сказать, что имитация — это порабощение, — задумчиво, ни к кому конкретно не обращаясь, произнесла Лиза.

— Ну, что ты, Лиза! Такое сильное слово... — заулыбался Иван Петрович.

— Почему? — удивилась Лиза. — Мне подсовывают вот эту совершенно ненужную пищу и хотят уверить, что и мне доступны все удовольствия жизни. Ещё и деньги берут. Вместо того чтобы на самом деле сделать что-то... настоящее, мне внушают, что вот это, — Лиза кивнула на бутылку кетчупа, — и есть соус. Это как... демократия в обмен на нефть...

Под впечатлением Лизиных слов, мать взяла со стола эту бутылку и принялась читать, что было написано на этикетке. Не найдя ничего, что подтверждало бы слова Лизы, вернула злосчастную склянку на стол.

— Ну, это у нас тут... всё не так, — пробормотала она.

— Ничего особенного у нас нет, — возразила Лиза, — везде то же. У нас, как всегда, всё... всё более грубо и зримо. А я не желаю быть рабочим стадом. Ни здесь, ни... где-то ещё...

— Что же ты, Лиза... — растеряно улыбаясь, начал Иван Петрович, — что же, неужели ты думаешь, что тебе в кетчуп что-то подмешивают?

Люггер, оторвавшийся от еды и рассматривавший Лизу с каким-то презрительным любопытством, едва заметно ухмыльнулся. Илья расхохотался в голос.

— Я думаю, — как ни в чём не бывало продолжала Лиза, — что меня хотят в чём-то убедить. Хотят, чтобы я поверила.

— Кто и во что? — дерзко и весело накинулся на Лизу Илья.

— Что всё, что мне нужно — это секс и успех. А я не хочу в это верить. Как только поверю, буду стадом.

— Ещё кетчуп! — расхохотался Илья. — Кетчуп, секс и успех...

— Кетчуп — это просто вещь из ряда подобных... таких же наглых и убогих уродцев...

— Нужно понять, что мир меняется, — тихо перебила я Лизу. — И каждому предстоит занять своё место. Будут лучшие особи человеческие. Будет крижистое большинство. Будут слабые и никчёмные. Кому-то из них не стоит и рождаться, чью-то кончину ускорят... из самых человеколюбивых побуждений. Не всем это сразу понравится. Но потом со спокойной совестью примут ещё и не то. Это нормально... Главное, пусть стадом будут другие. Слабые...

— О, Господи! Евгения! — вскинулась мать. — Ты ещё тут... Что ты такое говоришь?..

— Только слабые не худшие, — пристально глядя мне в глаза, произнесла Лиза, — а сильные не лучшие.

— Пусть слабые это докажут.

Лиза покачала головой.

— Нет... Может, и была мечта о счастье и справедливости. Но дорогой оказалась, — сказала она, обращаясь всё так же ко мне. — И тогда те, кто правит миром, сказали себе: выпустим беса, выпустим грех, назовём это свободой — и будет прибыль... Но они сами погрязли. И оттуда не вылезти.

— Увидим, кто вылезет, а кто погрязнет... — усмехнулась я.

Лизе снова удалось завладеть вниманием публики. Все слушали её завожённо.

Когда она закончила, с минуту, наверное, все молчали, точно переводя дух. Я огляделась. Люггер был удивлён, Иван Петрович взволнован, Илья раздражён. Мать ничего не поняла и оттого злилась на Лизу, предвкушая, должно быть, как вздует её перед золовками. Только сама Лиза была спокойна.

— Ну, Лиза! — заёрзал Иван Петрович. — Ты всё такие... такие странные вещи говоришь! Целую теорию, понимаешь, из кетчупа вывела!

— Да ведь она её раньше вывела. Не на ходу же придумала, — тихо заметил Илья.

— Да, пожалуй... — покачал головой Иван Петрович. — Так, Лиза? Ты раньше вывела? Ты, наверное, прочитала в какой-нибудь книжке?

— Нет, папа, — спокойно отвечала Лиза. — Это мои мысли.

— Как же ты додумалась? — не унимался Иван Петрович. — Да ведь это какая-то путаница... Ты, наверное, прочитала что-нибудь такое и перепутала... немного.

— Я, папа, ничего не путаю, — твёрдо сказала Лиза. — Я сама так и думаю, как говорю. Я в деревне всё думала. Там в деревне только книги читать да думать. Я с детства всё читаю и думаю.

— А ещё Лизавета Ивановна утверждает, что Америка и большевики — одно и то же, — вдруг вспомнила и обрадовалась я.

— А это что за новое учение? — усмехнулся Илья.

— Против прошлого за светлое будущее! Так? — улыбнулась я Лизе.

— Так. Но не совсем.

— А что не так? Кстати, религия — это тоже мечта о светлом будущем.

— Будущее может быть разным. Может быть вечная жизнь и Второе Пришествие, может быть утопия и несбыточная мечта, а может быть земной рай. Ну... накопление и всё такое. А это конечное будущее, которое очень скоро может стать настоящим. И тогда впереди ничего не будет. А когда впереди ничего нет — это тоска. И тогда все устремляются обратно в прошлое. Как наши старухи... — Лиза тихонько рассмеялась. — И дороги у них шире были, и закаты ярче... Смешно, правда. Только это для всех опасно. Потому что неизвестно, кто и что выберет для себя в прошлом.

Мать тем временем стала убирать посуду, чтобы подать чай. Я встала из-за стола помочь ей.

— Слушай-ка, даже посуду за собой не уберёт, — прошипела мать уже в кухне.

— Она в гостях.

— В гостях... Ну, и что! За собой и в гостях убирают, — не унималась мать, с грохотом опуская тарелки в раковину. — Разумничалась... Вот порода-то...

— Она в гостях! Тебя же не возмущает, что Люггер тарелки не моет.

— Люггер — мужчина! — назидательно объявила мать.

— Скажи, пожалуйста... Кто бы мог подумать!.. — фыркнула я.

— Вот ты и подумай, — понизила голос мать. — Мужчина. И холостой мужчина. Холостой и небедный.

— Небедный и сексуальный, — передразнила я мать. — Сексуальный и...

— Ну, ладно! — оборвала меня мать. — Он-то уедет сейчас в Нью-Йорк, а ты останешься.

— Всё равно тарелки здесь ни при чём, — вздохнула я.

И опять, как тогда в сених, мне захотелось сделать что-нибудь назло матери. Что-нибудь дерзкое, вызывающее, что бы заставило её ахнуть, а заодно сбilo бы с неё спесь. Но вместо этого я схватила поднос с чашками и чайником и потащила его в столовую.

— Что за девка! Порченная... — донеслось мне вслед.

А в столовой Лиза уже пикировалась с Ильёй.

— ...Скинули татаро-монгольское иго, скинули французское, скинули немецкое, скинем и американское...

— Как?! — раздражался Илья, так что рот даже кривился — о! мне прекрасно знакомо это выражение! — Как?! Молитвой? У России нет армии в современном понимании этого слова. Есть только несколько боеспособных частей и стадо, которое при случае сомнует, как в Великую Отечественную смяли, кстати... в первые две недели.

Я заметила, что Лиза слушает Илью с большим вниманием.

— Молитвой? — переспросила она, когда Илья умолк. — Да, молитвой... Странно, что вы это слово сказали. Даже странно, что подумали... Ну, не армией же только воевать...

— Не надо, — обрадовался чему-то Илья, — вот про молитвы не надо! Ответ должен быть адекватным. Око за око, кровь за кровь. А молитва — это не оптимальное средство для кровопускания! А вообще-то, когда кто-то начинает рассуждать, что русских обижают, мне смешно! Правда... Нет, чтобы в себе причины поискать... Знаете, я был в Якутии, общался там с якутами, многие на полном серьёзе утверждают, что их споили русские. То же самое я слышал от молдаван.

— От молдаван-то особенно... — усмехнулся Иван Петрович.

— А курить кто научил якутов? — спросила я, с грохотом опускающая на стол поднос с чашками. — Испанцы? Бедные якуты...

— При чём тут... — повернулся ко мне Илья.

— Да, но если бы не алмазы... — улыбнулся Иван Петрович, — эти слезинки якутских младенцев, отцов которых споили русские дикари, не стоили бы так дорого...

— А разве непонятно? — удивилась чему-то Лиза.

— Что? — переспросил Илья.

— Разве непонятно, что это специально? Разделяй и властвуй...

— Ну, ладно... Ладно... — с напускной весёлостью затараторила мать, входя в комнату с большим пирогом. — Ладно... спорщики. Лучше вон... сыграй-ка нам что-нибудь, Евгения, — обратилась она ко мне.

— О-о-о! — протянул довольный Люггер, адресуясь не то ко мне, не то к пирогу.

Я знала, что она попросит. Она каждый раз просит меня сыграть перед гостями. Для себя лично ей не нужна музыка, но напоказ... Стоило тратить столько денег на моё обучение, чтобы выставлять потом перед гостями!

В другой раз я бы ни за что не стала играть. Но тогда это отвечало моему настроению. Войдя в комнату после разговора с матерью, я вдруг точно увидела всё по-новому. Стоило мне забыть обо всех на десять минут, как, снова возникнув, они показались мне на удивление нелепыми и смешными. Как странно, что совсем недавно я слушала и принимала их всерьёз! И Лизу — эту курносую, нескладную девицу с умом мощностью в две лошадиные силы; видимо, со скуки в деревне накачавшую свой мозг и теперь не знающую, что с ним делать. И Люггера, только внешне не привлекающего к себе внимания и могущего сойти за автохтона, да и то, исключительно благодаря безукоризненному владению языком. На деле же решительно ничего не понимающего и наверняка мнящего себя в Зазеркалье. Ещё бы! Сначала старуха, “играющая” на нарах, потом моя мать, юродивый Абрамка, теперь Лиза...

И мать, уже ненавидящую Лизу за то, что та “разумничалась”, и разволновавшегося Ивана Петровича, и раздражённого Илью, который, едва Лиза скроется за дверь, назовёт её “самородком хреновым” — о! я была уверена в этом! Как же все они смешны! И на меня нашло неудержимое, просто томительное желание чего-нибудь дерзкого и безумного. Мне захотелось хохотать и вертеться волчком! А может... Может, лучше сбросить с себя

всю одежду! Вот сейчас, сию же секунду. Так, чтобы все они рты раскрыли! Нет, лучше отправить что-нибудь из мебели в печку или столкнуть кого-нибудь в подпол, или просто вылететь в окно!

К вящему удивлению матери, я тот же час отправилась к инструменту. Я уже знала, что именно буду играть. Я откинула крышку и, закрыв глаза, опустила голову. Молча сидела так несколько секунд. Мне хотелось остановиться на самом крутом витке настроения, достичь высшей точки внутреннего напряжения. В комнате все стихли. Я не могла видеть того, что происходило у меня за спиной, не могла видеть их лиц. Но, представив себе на миг эти лица, я расхохоталась, как безумная.

Я стала играть из “Пер Гюнта”, “В пещере горного короля”. Это одна из любимых моих вещей. Начинается она *pianissimo*.

Тихо и крадучись, всё ближе к Рондскому замку по тёмным лабиринтам пещер. Всё ближе и явственнее шум из королевского дворца, всё слышнее визг ведьм и гогот троллей. Громче бьётся сердце, скорее шаги!.. Скачи живее, поросёнок! И вот уже тронная зала...

Здесь на *fortissimo* заковка расстегнулась у меня на затылке и упала на пол. Волосы рассыпались по плечам. Я продолжала играть...

Эх! Сбросить бы одежду, вышить мёду, прицепить хвост — и прочь за двери, старый Адам! Будем веселиться! Будем, как боги!..

## Х

Утром на крылечке флигеля, где квартировала Лиза, нашли мёртвым Абрамку.

Обнаружила его мать. Выйдя рано утром на двор, она заметила нечто странное возле флигеля. Ещё не разобрав, что это может быть, мать настолько перепугалась, что первое время раздумывала: подходить ли ей к флигелю или позвать Ивана Петровича. Но любопытство, как обычно в таких случаях, взяло верх. Мать осторожно приблизилась к домику и... узнала Абрамку. Он лежал на боку прямо на лесенке, упираясь левым плечом в верхнюю ступень. Шея его изогнулась, как шея лебедя. Голова покоилась на площадке перед дверью.

Заподозрив худое, но продолжая надеяться на лучшее, мать тронула его за правое плечо. Мальчик безвольно и нелепо перевернулся на спину. Мать увидела, что он мёртв.

В ту же секунду от её крика проснулся весь околотов. Иван Петрович выскочил из дому, запахивая на ходу халат. Я бросилась за ним следом. Лиза, высунувшись из флигеля и наткнувшись взглядом на бездыханного Абрамку и вопившую тут же мать, показалась вся из-за двери — босиком, в коротенькой рубашонке — да так и остолбенела. Прибежала соседка, за ней — другая. Не заметив сразу Абрамку, обе кинулись к матери, вообразив, что с нею какой-то припадок. Но мать, продолжая плакать и голосить бессвязно, всё же указала подругам на маленькое, скрюченное тельце.

Несколько уже оправившийся Иван Петрович помчался обратно в дом к телефону. Через четверть часа прибыла милиция, за ней — “скорая помощь”.

Бросились разбираться, и в тот же день выяснили, что умер Абрамка от крысиного яду, которого у нас по двору было разбросано в чрезвычайном количестве. Весной появились в доме крысы, хотя до той поры никогда не водились. Незваные гости съели в подполе пакет муки и лыжные ботинки Ивана Петровича, прежде чем их присутствие оказалось замеченным, и были приняты меры по их выдворению. Но маленькие серые хищницы, уютно почувствовавшие себя в нашем подполе, ни за что не хотели убираться всовояси.

Сначала мать решила пугнуть их своей рыжей мокроносой кошкой, которая от самого своего рождения ничего не умела делать, как только есть, как тигр, и спать, свернувшись клубком.

Кошку переселили в подпол, но затея эта немедленно обнаружила свою бесплодность. Потому что жить в доме, под которым орёт и скребётся кошка,

оказалось делом невыносимым. Освобождённая кошка бросилась к миске, а после уснула, положив морду на собственный зад.

Через несколько дней Иван Петрович принёс “электрота”. Маленький чёрный приборчик, похожий на архаичный радиоприёмник, днём пронзительно пищал, а ночью сверкал синим глазом. Но пока он пищал и сверкал, сверкал и пищал, крысы прикончили второй пакет муки и принялись за картошку.

Вот тогда-то и решено было прибегнуть к ядам. Иван Петрович заботливо разложил в подполе кусочки мяса, пересыпанные отравой, но крысы мяса не тронули, а поднялись в дом. Наглость, а главное, сообразительность их были возмутительны. Иван Петрович с каким-то даже азартом, точно это было делом его чести, бросился на борьбу с легализовавшимися подпольщиками. В доме, на крыльце, во флигеле и на дворе появились крысоловки, дощечки, намазанные каким-то клеем, кусочки мяса, горки муки и прочие приманки, сдобренные ядом. Вот на одну из таких приманок и попался забредший к нам ночью Абрамка. Так и порешили считать.

Правда, никто из нас не слышал, как он пришёл. Да и на руках у него не обнаружили следов яда. Из чего сам собою напрашивался вывод, что яд ему кто-то дал. Но кто? Либо это сделал кто-то из нас, либо его привёл и отравил у нас на дворе кто-то чужой, либо его принесли к нам уже бездыханным. Но поскольку на песчаной дорожке, подготовленной ещё третьего дня наёмными таджиками для укладки плитки, оказались следы босых ног Абрамки, значит, шёл он сам. И так как параллельно его следам на песке других следов обнаружить не удалось, то, скорее всего, был он один. Следовательно, яд ему мог дать только один из бывших в то время в доме. Да ведь нельзя же было так думать! Иван Петрович — первое в городе лицо, и вдруг в его доме — преступление, жестокое, дерзкое и совершенно бессмысленное.

Допросили, впрочем, всех. Но на особом подозрении оказались мы с Лизой.

— Часто ли он приходил под ваши окна? Не возникало ли у вас раздражение? Не мешал ли он вам спать? Не посещало ли вас желание как-то отделаться от него? — около трёх часов провела я на следующий день в кабинете следователя, молоденького и, очевидно, в высшей степени довольного собой господинчика.

Мне хотелось крикнуть, что вот сейчас у меня возникло раздражение, а заодно желание избавиться от вас, от вас! Хорошо бы ещё запустить в него чем-нибудь тяжёлым. Но вместе этого я с самым невозмутимым и любезным видом принуждена была отвечать на его дурацкие вопросы.

Домой я добралась только к обеду. И не успела войти в дом, как услышала:

— Евгения!.. — слабым голосом звала меня мать.

Врач, приехавший на “скорой помощи”, сделал матери какой-то укол и препроводил её в постель. Вскоре она уснула, вечером, проснувшись, совершенно успокоилась. Но, ослабев изрядно, оставалась в постели. Утром, скушав завтрак, принесённый Иваном Петровичем, объявила, что отдохнёт “ещё немножечко”. Теперь же ничто не разубедило бы меня, что она вполне оправилась, а в постель прыгнула, лишь только завидела меня в окно.

Я прошла в её комнату.

— Привет! — как можно беззаботнее сказала я.

— Присядь здесь, дочка! — указала она на стул подле своей кровати. Голос её дрожал.

“Точно завещание оставить хочет! Вот только завещать нечего...” — подумалось мне.

— Да, мама, — сказала я, усевшись на стул.

Мать смотрела на меня из-под полуприкрытых век, мышцы её лица были расслаблены, отчего лицо походило на тряпку, висевшую на гвоздике. Обе руки лежали поверх одеяла — мать изо всех сил изображала тяжелобольную.

— Дочка! — позвала она, точно не замечая, что я рядом.

Я промолчала. Мать выждала немного и снова заговорила.

— Дочка, ну, как ты?

— Нормально... Была у следователя. По-моему, всё в порядке.

— Ну, слава Богу!.. — мать слабым жестом перекрестилась. — А где Лиза? Как она?

— Лизунька?

— Да, — мать не поняла моей иронии.

— Не знаю. Кажется... кажется, к Ольге Петровне пошла, — я специально сказала об этом. Я могла бы не говорить, но специально сказала.

— К Ольге Петровне? — мать шире приоткрыла глаза. — Ну, конечно... это же её тётя. Ох! — она вдруг спохватилась. — Что ж это я? Ты иди, дочка, обедай! Там суп ещё оставался... Я же не готовила сегодня...

— Хорошо, мама.

Я отправилась на кухню. И только села за стол, как на пороге появилась мать.

— Да, правильно. Суп хороший, оставался ещё... — она грузно опустилась поперёк стула напротив меня и уложила на стол свой полный белый локоть. Повернулась и стала смотреть, как я ем.

— Тебе уже лучше? — спросила я, отламывая от куска чёрного хлеба маленький кусочек. Меня раздражало, что она смотрит.

— Получше, — сказала мать своим обычным голосом, но тут же спохватилась и простонала:

— Но не совсем ещё...

— Лиза обедать не будет, так что я не оставлю ей супу, — объявила я.

— А что... она у Ольги Петровны останется обедать? — снова, забывшись, спросила мать.

— Да. У Ольги Петровны обед в честь Лизы. Кажется, и гости будут. Меня тоже звали, но я не пошла. А Лизу и следователь допёк. Так что Ольга Петровна уж постарается её развлечь.

— Следователь? — испугалась чего-то мать.

— Ну, да. Подозревает как будто... Человек Лиза новый, только приехала, а тут такое! Мальчик странный, у нас-то к нему все привыкли. А Лиза — кто ж её знает?

— Так это она убила?! Лизка?! — даже глаза у матери загорелись.

— Да нет же! Просто её проверяли...

Но мать уже не слушала меня.

— Слушай-ка! Как же это я не догадалась-то? А? Конечно, она — больше некому. У неё на крыльце... И на руках яду нет... Значит, он сам не брал... Значит, это она ему дала! Слушай-ка! У неё ведь и мать колодница, кого-то прикончила! А-а-а! Ты подумай! Яблоко от яблони... Вот порода-то! — мать хлопнула ладонью по столу. — Ты подумай! Этого отравила... А зачем? Меня чуть в гроб не вогнала... Ну, паршивка! Спать, наверное, мешал. Мы-то привыкли все... А тут с непривычки — ходит какой-то, орёт... Слышала ты? Приходил он?... Слушай-ка! Я вот что хотела-то... Ай-яй-яй... Ну, каторжные! — ничто больше не выдавало в ней болезни, разве только неряшливый, растрёпанный вид. — Ты вот что... Люггер-то скоро уезжает... Поняла?

— Что?

— Давай-ка... — кивнула она, — давай-ка... оденься, накрайся... и к нему. И нечего тут!

— Что "нечего"?

— Нечего... Терять уже нечего. С белобрысым твоим... Всё уже потеряла давно, — она безнадежно махнула на меня рукой. — И морщиться нечего. Это жизнь. Все так... Уж всё, как есть... Придёшь и скажешь: так, мол, и так, Аркадий Борисович... Поняла?

— Поняла, — спокойно ответила я. — Прямо сейчас к нему и пойду.

— И правильно. Прямо сейчас иди, — мать недоверчиво рассматривала меня. — Прямо иди сейчас собираться. И посуду оставь... Я помою... потом.

Я действительно встала из-за стола и отправилась в свою комнату одеваться, чтобы затем идти к Люггеру. Стоило матери заговорить о нём, как мне стало не по себе. Не от могущего показаться иным ханжам неприличия её наставлений и не от наивного цинизма, с каким она взялась устраивать

моё счастье. Но я вдруг поняла, что и сама, ещё до того, как она появилась на кухне, успела подумать о том же. По дороге домой меня мучила засевшая где-то глубоко и не могущая прорваться наружу мысль. Иногда, подумав о чём-то и тут же отвлекшись, я пытаюсь вернуться к первой своей мысли, но тщетно. Она прячется от меня в каких-то тайниках, не оставляя следов. Но, не изжитая, она тяготит и лишает покоя. Я именно хотела пойти к Люггеру и предложить себя. Но до тех пор, пока мать не дала благословения, я не решалась выпустить на свет эти мысли. Я отчего-то страшно разозлилась на мать, точно мне было бы приятно, если бы она вдруг стала меня отговаривать и останавливать.

Выслушав её, я решила непременно и во что бы то ни стало идти к Люггеру.

Присев за туалетный столик, я уставилась на себя в зеркало. Узкое, вытянутое, ассиметричное лицо; маленькие, близко посаженные, ничего особенного не выражающие голубые глазки; мясистый нос с широкой, как у льва, переносицей, вечно припухшие, точно покусанные пчёлами, губы. Одно утешение — густые тёмные волосы. Терпеть не могу блондинок, но иногда думаю, что быть блондинкой проще и приятнее. Хотя воображаю, кто увидаётся вокруг блондинок — поговорить не с кем. Но осветлять волосы ни за что бы не стала! Крашеная блондинка — это что-то вроде кетчупа в Лизиним представлении.

Интересно, что будет, когда Лиза явится домой? Едва ли мать промолчит. Может, не стоило говорить матери об этом обеде у Ольги Петровны? Но ведь я со смертного одра её подняла! В конце концов, какое мне дело до всего этого?

Я оделась, как одеваются у нас проститутки с Заречья: босоножки на каблуках-ходулях, джинсовые шорты, похожие на плавки-бикини, майка, похожая на лифчик, и огненно-красная бандана. Чтобы не сломать ноги и чтобы в городе меня никто не видел в таком виде, я вызвала к дому такси. Выглядела я отвратительно. И мне нравилось выглядеть отвратительно. Мать усадила меня в машину, да ещё и перекрестила вдогонку.

— На Московскую улицу... к дому Марии Ефимовны, — объявила я таксисту.

Пока мы добирались до Московской улицы, мой водитель, у которого имя Марии Ефимовны оказалось в самобытном образном ряду, рассуждал о пользе сталинизма.

— Позвольте, позвольте! — сильно упирая на “о”, возражал он кому-то. — Сталин боролся с троцкизмом! Ежели вы не за Сталина, стало быть, за Троцкого. А? Третьего не дано...

— Лично я за Цурюпу, — сказала я, глядя в окно и совершенно не думая, что и зачем говорю. Однако слова мои чем-то смутили таксиста. Он замолчал. К счастью, мы уже подъезжали.

В голове у меня было совершенно пусто. Ни на секунду я не задумалась о том, что буду говорить и делать, придя к Люггеру. Никогда я не надеялась, что Люггер увезёт меня с собой после того, как я появилась перед ним в костюме обитательницы дома терпимости. Всерьёз верить в успех подобного предприятия под силу только моей матери. Не знаю, на что я рассчитывала. Но уже потом мне как-то пришло в голову, что привлекла меня исключительная порочность всей ситуации, а главное — это удовольствие. Не физическое, конечно, а тонкое удовольствие, знакомое тем, кто хоть раз пускался во все тяжкие. Слабый — потом, спустя время — непременно застыдится и ночами, заливаясь в темноте краской, станет ворочаться и грызть подушку. Сильный способен копить любые впечатления. Впрочем, может быть, я всего только рисовалась или, как говорит моя мать, “бахвалилась”.

Почему-то в том, что принято называть пороком, мне виделось что-то настоящее, что могут позволить себе только избранные, только сильные и свободные. Ведь я твёрдо знаю, что порочны все, все, как один. Но все, по старой памяти, изображают негодование перед пороком, что означает всего лишь неприятие самого себя. Рабские натуры упираются лбами в традиции, установленные кем-то традиции. Сильные и свободные принимают себя



во всей полноте и утверждают собственные нормы. Сильные и свободные никому не позволят диктовать себе. К тому же *кто-то* уже отменил часть вчерашних запретов. Почему бы не идти дальше? Зачем ждать чьего-то дозволения? Не желаю воровато обкусывать с краю, когда можно съесть весь кусок!..

Машина остановилась прямо напротив калитки. Я расплатилась и, выскользнув из такси, огляделась — мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня. Поблизости никого не оказалось, и я, довольная, что осталась незамеченной, прошла в калитку.

Улица Московская — центральная в нашем городе. Но домик Марии Ефимовны стоит в самом её конце, где заканчивается асфальт и начинается поле, за которым уже лес. И после пересечения с Южной улицей дома здесь стоят только на чётной стороне. Вдоль нечётной тянется заросший черёмухой овраг. В мае, когда черёмуха цветёт и аромат её заставляет замедлять шаг, когда в овраге переливаются соловьи и ветер приносит из лесу кукушкин голосок, я люблю приходить сюда. Этот уголок города похож на сказочный мир. Здесь меня всегда охватывает приятная грусть, отчего-то щемит сердце, и хочется плакать. Но это хорошие слёзы — на душе у меня спокойно и тихо. Я прихожу сюда за ощущениями, которых и объяснить не умею. Но мне нравится слагать их в сердце. Быть может, ощущения эти — одно из немногих моих сокровищ...

Правда, в последнее время с чьего-то почина появилась в овраге помойка. И я боюсь, что однажды весной её зловоние заглушит черёмуховый дух.

Я подошла к дому и хотела позвонить. Но вдруг заметила, что дверь на веранду приоткрыта. На двери во внутренние покои, я знала, был свой замок. Первую дверь тоже пытались запереть — задвижка выступала на один поворот ключа. Но в том-то и дело — с непривычки ли, а может, впопыхах, дверь закрыли не на два оборота, а всего лишь на один. Этого оказалось недостаточно: задвижка выскочила, дверь приоткрылась. Неясным оставалось одно: изнутри или снаружи поворачивали ключ.

Почему-то созерцание двери и замка смутило меня. Безразличие исчезло, я вдруг явственно ощутила неловкость и своего наряда, и положения. Но отступать было поздно, и я решительно поднялась на веранду.

## XI

Дверь в комнаты оказалась запертой. Я постучала и несколько раз дёрнула ручку. Удостоверившись окончательно, что дома никого нет, я в ту же секунду обрадовалась. Мне уже расхотелось предаваться пороку, и вся затея встала передо мной каким-то отвратительным чудовищем, какой-то грязной, зловонной, раскисшей бабой. Довольная, плюхнулась я на старый кожаный диван и возблагодарила судьбу, которая устроила всё как нельзя лучше.

Не раз бывала я у Марии Ефимовны с Иваном Петровичем. Обстановка комнат и веранды была мне хорошо знакома. Люггер, проведший в родовом имении несколько дней, ничего, кажется, не изменил здесь. Во всяком случае, на веранде всё оставалось, как было при Марии Ефимовне. Стоял круглый стол, покрытый вязаной скатертью, а вокруг стола — плетёные кресла. Стоял старый, а лучше сказать, старинный диван, обтянутый чёрной, изрядно потёртой кожей. Был ещё буфет тёмного дерева и всякая мелочовка: столик на тонких, высоких ножках, низкий комод и кованный железом сундук.

Развалившись на холодной коже дивана и разглядывая с аппетитом мебель и безделушки, украшавшие её поверхности, я совершенно уже успокоилась и даже ослабла, как это всегда бывает со мной после душевного напряжения. Я даже забыла о цели своего визита в этот дом. Как вдруг явственно послышался стук калитки, и в следующую секунду я различила голоса. Кто-то направлялся к дому.

Первым моим движением было броситься в раскрытую дверь. Но я вовремя спохватилась. Если Люггер со свидетелями увидит меня выскакивающей из дому, как потом я докажу, что дверь была распахнута до моего прихода? А ну, как на веранде уже побывали, а заодно прихватили что-нибудь

ценное? Всё это мгновенно пронеслось передо мной. Да и наряд мой, о котором я тут же вспомнила, заставил меня струсить. Я заметалась по комнате.

В моём распоряжении имелись диван, стол со скатертью и сундук. Почему-то первым делом бросилась я именно к сундуку. Но едва приподняла я крышку, как меня окатило такой могучей волной нафталина, что, бросив в ту же секунду крышку, я со всех ног кинулась к столу. Но и тут меня ждало разочарование: не пойму, как сразу я не заметила, что слишком короткая скатерть не скрыла бы меня всю. И как только Люггер с приятелями появились бы в комнате, первым делом они наткнулись бы на меня, с глупейшим видом выглядывающую из-под стола. Воображаю, что стало бы с Люггером! Слишком много впечатлений за такое короткое время.

Другими словами, мне ничего не оставалось делать, как заползть под диван, который оказался для этого настолько низким, что мне пришлось приподнимать его. И даже распластавшись по полу, я, тем не менее, чувствовала спиной диванное днище. К тому же диван оказался ещё и слишком коротким, и ноги мои, а точнее каблуки, вылезали наружу.

Наверное, никогда уже не повторить мне той позы, какую пришлось принять под старым диваном Марии Ефимовны Люггер. Ворочаясь и подтягивая под себя ноги, я, между делом, подумала, что на этом самом диване не так уж в сущности давно сиживал какой-нибудь курчавый бронеет в пенсне и с маузером в кармане скрипучего кожаного пиджака...

Люггер, меж тем, уже подходил к дому — голоса становились всё явственнее. Я уже не сомневалась, что с Люггером был только один человек, но кто именно, я не разобрала пока. Хотя, без всякого сомнения, этот второй голос был знаком мне. И я рассчитывала, что как только они войдут в дом, я вскоре узнаю гостя Люггера.

Встретаться здесь с кем бы то ни было не входило в мои планы. Но меньше всего на свете мне хотелось бы столкнуться с Иваном Петровичем. И какова же была моя досада, когда в вошедшем я узнала по голосу Ивана Петровича!

— ...Да это вы сами и не закрыли, Аркадий Борисович! Посмотрите, на один поворот у вас заперто... Дайте-ка ключики... — послышалось бряцание ключей на связке, а затем щелчок замка.

— Вот видите? — продолжал Иван Петрович. — Это вы сами не закрыли. С непривычки... понятно.

Люггер хмыкнул, пробормотал что-то, и я снова услышала, как щёлкает замок. Потом хлопнула дверь, и Люггер с Иваном Петровичем направились в мою сторону. Наконец, они поравнялись с диваном, и я увидела, как тяжёлые шнурованные боты Люггера, не останавливаясь, прошли мимо, к столу. А остроносые замшевые туфли Ивана Петровича на секунду задержались, после чего закружились на месте, и Иван Петрович грузно опустился мне на спину.

— Ерунда, — сказал Люггер, усаживаясь в плетёное кресло, — хотя, думаю, здесь есть... э-э-э... чем поживиться. Кофе хотите?

— Нет, благодарю. Ничем тут особенным на веранде не поживишься. Ту-то дверь, я вижу, вы хорошо заперли? Захотят, Аркадий Борисович, поживиться, всё равно влезут... запирай, не запирай... Э-хе-хе... — шумно вздохнул Иван Петрович. — Что за жизнь такая пошла? Тут режут, тут грабят... И кто их всему этому учит?.. Вы слышали? — вдруг оживился он. — Слыхали? Мальчишку-то того убили... Ну, полоумного-то нашего, юродивого...

— Да, слышал, — равнодушно отозвался Люггер. — Ужасно.

— Ужасно!.. — усмехнулся Иван Петрович. — Ужасно — это не то слово, Аркадий Борисович! Не то слово. Убили-то его не где-нибудь, а у меня на дворе. Вот что гаже всего. Ну, кто, скажите? Кто мог мне эту пакость устроить?! Ну, будем, конечно, считать, что это он сам отравился. Как-нибудь там... случайно... Но если начистоту... То ведь непохоже...

— Вы кого-то подозреваете? — осторожно спросил Люггер.

— Ну, для дела-то можно многих подозревать. А если опять же начистоту... Ума я не приложу! А тут ещё... Кто-то донёс Лидии Николаевне, что

следователь... ну, как бы это... интересовался Лизой. Господи! Это Лизу-то подозревать! Да и то сказать — подозревает! Ну, задал лишний вопрос... Так ведь наступали уже!.. Сволота... А Лидия Николаевна уже вбила себе в голову, что Лиза и впрямь убийца! И уж трубит по всему городу! Что ты будешь делать!.. Это, говорит, у неё семейное. Мать, говорит, у неё колодница, а яблоко от яблони недалеко падает.

Я чуть не вскрикнула под диваном. Значит, мина, заложенная мной, уже подействовала.

— Мать Лизы? — удивился Люггер.

— Ну, да... Какая-то тёмная история в Москве. А в Москве, знаете, ни дня без тёмной истории...

— Мегалолис, — заметил Люггер.

— Так-то оно так... Но Лиза-то здесь при чём! А Лидия Николаевна если что вобьёт себе в голову... — Иван Петрович вздохнул тяжелько. — Разубедить... это легче воробьёв руками ловить. Уж я и так, и этак! Не труби ты, говорю, на весь город! Меня же этим ославишь! Ни в какую!.. Она, говорит, убийца, как и мать её. И ведь до седьмого колена всех приложила!

— Не обращайтесь внимания, — усмехнулся Люггер. — Обычное дело — женщины...

— Да как же, Аркадий Борисович! Лиза-то ведь только домой, на порог только вошла, а уж Лидия Николаевна в крик! Убирайся, кричит, убийца! Так и назвала ведь её! Что ты будешь делать!.. Не хочу, говорит, чтобы моя дочь под одной крышей с убийцей жила. Это Лизонька-то моя убийца! Господи! Да ведь она сама, как блаженная, сама юродивая! Вы же видели... Кого ж бы она убить-то смогла!

— Да, — уклончиво заметил Люггер, — много странных людей.

— Лизонька, доченька моя, — продолжал блажить Иван Петрович, — теперь ведь и не приедет ко мне! Двадцать лет я с ней не видался, Аркадий Борисович! Двадцать лет... С доченькой единственной... Нет же у меня больше детей. Да и не будет уж...

“А я, значит, не в счёт!” — промелькнуло у меня. Господи! Да ведь я и впрямь живу среди юродивых! Первый из которых — Иван Петрович Размазлей, юродивый себя ради.

— Ничего, — равнодушно заметил Люггер, — вы сами к ней поедете. Это лучше.

— Да, пожалуй, — грустно, но уже без причитаний заметил Иван Петрович. — И вот ещё что... Просьба у меня к вам, Аркадий Борисович. Точнее, приглашение.

— Какое же? — удивился Люггер.

— Завтра... если, конечно, время... Это, видите ли, старая история. Отец Мануил...

— Кто? — испугался чего-то Люггер.

— Отец Мануил. Наш главный поп! — объяснил Иван Петрович и тут же вслед за Люггером хихикнул. — Эту встречу сам он и назначил. Говорить со мной желают! Так что пойдёмте, это может быть интересно.

— Да, это забавно. Что он, гей?

— Виноват... — растерялся Иван Петрович.

— Ну... поп этот ваш... гей?

— Да что вы... С чего вы это... Какой там!..

— Ну, хорошо, хорошо... Я пойду с вами.

— Ну, и прекрасно! — обрадовался Иван Петрович. — Прекрасно... Обязете! Вам интересно, а мне, знаете, сподручно. Вы человек чужой, иностранец даже. Может, урезоните нашего... святого отца! А то, понимаете, очень активный культный работник.

Они засмеялись.

— А тут ещё эта смерть... — продолжал Иван Петрович, — этого убогого. Так некстати! Так некстати!.. У меня ведь, грешным делом, промелькнула мысль на них это дело повесить. Убийство-то!..

— На кого?

— Да на патриотов, как они себя называют. Хм... Как будто другие не патриоты! Отец Мануил-то у них вроде духовного лидера. Наш, так сказать, мстечковый и доморощенный аятолла Хомейни.

Они снова засмеялись.

— И что же убийство? — вернулся к разговору Люггер.

— Убийство-то? Да ведь найди только следствие какую-нибудь вещичку — книгу ли, тетрадку, листок ли бумаги — всё одно! Но только чтоб непременно со свастикой или с другой какой ерундой в этом роде. И вот вам указание на убийцу! И ведь сразу двух зайцев: и злодея станем искать, и всю эту компанию поприжмём!

Снова засмеялись.

— Свастика — это понятно, — заметил Люггер, — но при чём тут ваша Церковь?

— Да как же? Патриотизм, национальные всякие идеи... Это уж не на кого и думать будет... А то что же, Аркадий Борисович! Затеяли мы парк скульптур — наш поп в крик. Собрались в городе храм всех религий устроить... Это ж... вы посудите... Иерусалим с Меккой и Тибет в придачу! Да уж говорил, вы в курсе!.. Деньги-то... капитал... на что привлекаем!..

— Да, проект интересный... Может и получится с инвестициями...

— Да уж как бы хотелось!.. Иностраннный капитал нам интереснее!..

— Это всем выгодно.

— Нужно непременно, чтобы всем миром строить. В смысле, сами верующие со всего света, отринув предрассудки и рознь, захотели поклониться единому богу, для чего и слились, так сказать, в едином порыве веры. И общими усилиями выстроили обновлённый дом молитвы... Понимаете?.. Презрев наставления своих пастырей, веками несших слово разделения и раздора, люди доброй воли объединились бы, чтобы — и это впервые в истории! — поклониться сообща творцу, создавшему их... Как?

— Убедительно...

— Привлечём капитал, и дело пойдёт!.. А то что же... Межконфессиональный совет хотели у себя созвать — поп костями! Что ты будешь делать! И ведь пронюхал же! До всего-то ему дело есть! Что за расплозающаяся клерикализация! Шпионы, что ли, у него всюду! — Иван Петрович вздохнул. — Прямо по пословице, — горестно заключил он. — “У кривого Егорки глаз шибок зоркий. Одна беда — глядит не туда”.

Люггер расхохотался. Иван Петрович следом.

— Так что же с убийством? То есть вы хотите из несчастного случая сделать убийство?

— Да нет, Аркадий Борисович. Погожу... А вы-то вот правы: не убийство это, а несчастный случай. — С этими словами Иван Петрович поднялся с дивана. — Пора нам, Аркадий Борисович. Если вы готовы, то поедемте — нотариус ждёт. Не сегодня-завтра в права вступите... Новая недвижимость — новые хлопоты...

— Пару минут — и я буду готов, — Люггер встал с кресла, пересёк веранду, и я услышала, как он загремел ключами, открывая дверь в комнаты. Дверь проскрипела, шаги Люггера стихли где-то в доме.

Почему-то когда Люггер ушёл, мне стало страшно. Точно я ждала, что в отсутствие хозяина Иван Петрович непременно бросится обыскивать веранду и уж, конечно, заглянет во все укромные места. Но Иван Петрович всего лишь прошёлся взад-вперёд, повздыхал. Остановившись, тихонько пропел: “Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета...” Потом неспешно подошёл к дивану, опустил мне на спину и замер.

Послышались шаги Люггера.

— Я готов, — объявил он, — можно ехать.

Иван Петрович легко поднялся. Они заторопились и, сойдя с веранды, стали возиться с дверью. Иван Петрович что-то объяснял Люггеру, щёлкала задвижка, бряцали ключи. Наконец, заперев и удостоверившись, что заперли, они стали удаляться.

## ХП

Ещё слышны были их голоса и шаги, когда я сделала первое движение освободиться от диванных оков. Но оказалось, что вылезти из-под дивана — это ещё полбеды. Потому что, едва я попыталась подняться на ноги, как со мной произошло нечто до того страшное, что я, забыв всякую осторожность, готова была звать на помощь хоть Люггера, хоть Ивана Петровича, хоть самого первого встречного. Лишь только я встала, как ноги мои подкосились, и я рухнула на колени. Не успев ещё толком ничего понять, я предприняла новую попытку. И снова упала. Ноги меня не слушались. А точнее, я не чувствовала, что располагаю, как обычно, ногами. Ужас охватил меня. Не было никаких сомнений, что пока я лежала под диваном, у меня отнялись ноги. И теперь я вынуждена буду валяться здесь на полу до тех самых пор, пока не вернется Люггер и не найдет меня разбитой, в пыли и полуголой! Хороша соблазнительница! И когда мне придется объяснять ему всё от начала до конца, какой же смешной и жалкой буду я казаться! Но главное: с сегодняшнего дня моим домом станет инвалидное кресло...

Обливаясь слезами, я решила переместиться на диван — не оставаться же в самом деле посреди веранды. Но только я шевельнулась, как ощутила, будто в ногах, налитых вместо крови каким-то расплавленным металлом, этот самый металл взыграл и забегал вверх-вниз. Я пошевелила ногами, металлическая волна поднялась с новой силой.

Господи! Мои ноги всего-навсего затекли от неудобной позы под диваном. Ужас немедленно сменился стыдом той же силы. Мне отчего-то стало стыдно разом за всё: и за свой визит в этот дом, и за лежание под диваном, и за глупый испуг, и за страх показаться Люггеру больной и смешной, — словом, почти за весь свой сегодняшний день.

Спустя пару минут я пришла в себя. Теперь мне предстояло подумать, как выбраться из дому, — ведь на сей раз Люггер совладал с замком. На всякий случай я подёрнула дверь. Но задвижка держала её прочно, замок был исправен. И мне ничего не оставалось, как лезть в окно.

Помню, мысль о том, что рядом с окошком не должно быть отпечатков моих пальцев, показалась мне удачной и своевременной. Ведь окно найдут открытым. Следовательно, если Люггер вызовет милицию, первым делом станут исследовать окно. Отпечатки в комнате я могла оставить в последнее своё посещение Марии Ефимовны. Но если на оконную раму поверх прочих лягут мои пальцы, я не смогу объяснить это явление. Решение нашлось тут же. Сняв с себя майку, я намотала на руку этот кусочек ткани и принялась орудовать рядом с окном, как заправская форточница. Стоит заметить, что под майкой на мне не было другой одежды, однако воспользоваться банданой мне почему-то не пришло в голову.

К счастью, никаких затруднений не возникло. Я распахнула раму, выпрыгнула на улицу, натянула майку и рысцой побежала к калитке. Уже на улице я вызвала по мобильному такси “к пересечению Большой Московской и Южной”, и сама поспешила к назначенному месту. Мне снова повезло: я никого не встретила, такси — сине-зелёная “шестёрка” — пришло быстро, и очень скоро я была дома.

Первым делом я вымылась и переоделась. Затем прошла в кухню, где столкнулась с матерью. Она гремела какими-то кастрюлями возле плиты, и вид её ничем не выдавал давешнего недуга. Напротив, уже и спина, и затылок выражали настроение воинственное и готовность сию же секунду схлестнуться с кем угодно. Заслышав, что я вошла, мать резко обернулась.

— Ну, что? — отрывисто спросила она.

Я усмехнулась: как будто она посылала меня в магазин за кефиром.

— Его не было.

— Что ж ты так долго? — недовольство её возрастало. Мне показалось, что сейчас она прибавит что-то вроде: “Тебе ничего поручить нельзя, хоть самой иди”.

— Ждала, — ответила я.

Мать отвернулась к плите.

Мне хотелось спросить о Лизе. Но, не зная, чем может обернуться мой вопрос, я решила подождать подходящего момента, а пока выпить чаю. Я рассчитывала, что мать сама заговорит. Но мать молчала.

Наконец, чай был выпит, а подходящий момент так и не наступил. Я решила действовать напрямик.

— А где Лиза? — как можно беззаботнее спросила я. — Почему она не ужинает?

Мать, не оборачиваясь, чему-то усмехнулась.

— Наужиналась...

— Вы ужинали? — притворно удивилась я.

— Она здесь больше ужинать не будет, — объявила мать. И по её тону, и голосу было понятно, что она необыкновенно довольна собой.

— Почему? — снова притворилась я.

— Значит, так! — наконец-то мать повернулась ко мне, уперев руки в боки. — Здесь вам не малина и не притон. И я в своём доме никому не позволю устраивать преступные сходки! Понятно? И убийц я у себя селить не стану! Не ста-ну!.. Это ж надо... Мальчика убить... большого! Это кем же надо быть!.. А меня-то чуть до смерти не довела!.. Я такие вещи не прощаю!.. И передай им, что они свиньи! Московские свиньи! — на последних словах мать сошла на визг.

— Кто свиньи? Кому передать?

— Все они! И Ольга Петровна, и Татьяна Петровна, и Лизка ихняя... Все свиньи!

— Почему московские?

— А как же? — удивилась мать. — Эта колодница-то давно в Москве. Как сбежала с тем проходимцем...

— А Ольга-то с Татьяной при чём?!

— Да как при чём... — возмутилась мать. — Они — родня, одним миром мазаны! Они и Лизку свою привечают — душегубицу... охлынцицу... вшивую биржу!.. Одна шайка! Я и не удивлюсь, что это они её подучили-то... чтоб меня только извести...

Мать, по своему обыкновению, несла ужасную чушь. Но весь её вид кричал о том, что ей необоримо хочется разогнать всех злодеев, провозгласить что-нибудь и навести кругом себя идеальный порядок. И всё упирается лишь в то, где взять злодеев и что бы такое провозгласить. Конечно, проще всего в этом случае было обидеться.

Я дождалась, когда мать отвернётся к плите, и, ни слова не говоря, выскользнула из кухни.

Мне нужно было увидеть Лизу...

Постучав и дождавшись Лизиного приглашения, я вошла во флигель. Лиза в каком-то смешном, старомодном сарафанчике с крылышками на бретельках сидела на кровати, ссутулившись и сложив по-турецки ноги.

— Входи, — безучастно повторила Лиза своё приглашение и отвернулась от меня к окну, располагавшемуся как раз напротив входа.

Флигель наш богат всего лишь одной вытянутой от двери к окну комнатой. Впрочем, довольно большой. По левой стороне от входа стоит кровать, маленький письменный столик и старая софа. По правую — секретер и ещё софа.

— Можно сесть? — спросила я у Лизы.

— Да, — она недоуменно дёрнула плечом, точно удивляясь, зачем я спрашиваю.

Я присела на софу напротив. Лиза не сводила глаз с окна. Рассматривая Лизу, я подметила, что она удивительно вписывается в эту обстановку. Ни царские покои, ни роскошные наряды не пошли бы к ней так, как её сарафан и железная койка, на которой она восседала. Такая странная и смешная, такая одинокая и маленькая, и оттого ещё более одинокая.

— Ну, как ты? — тихо спросила я.

Лиза снова дёрнула плечом.

— Хорошо, спасибо.

— Что тут было?

— Ничего...

— А мать?..

— Твоя мама говорит, что это я убила, — помолчав немного, сказала Лиза.

— А ты что?

— Я сейчас соберусь и пойду к тётё Оле... а там уеду...

— Нет, я про то, что убила...

— Я никогда и никого не убивала, — спокойно отозвалась Лиза и повернулась, наконец, ко мне.

Пока она смотрела в окно, я старалась перехватить её взгляд и беспокоилась, оттого что не вижу её глаз. Но стоило Лизе повернуться и спокойно взглянуть на меня, как беспокойство моё возросло. Под её взглядом я смутилась и начала ёрзать.

— Ты что же, думаешь, это он сам? — спросила я.

— Я ничего не думаю, потому что ничего об этом не знаю, — так же спокойно проговорила Лиза.

— А я знаю, — тихо сказала я. Мне снова захотелось поразить Лизу, произвести на неё впечатление.

Я всё ждала, что она начнёт выспрашивать, но она молчала и разглаживала сарафан у себя на коленях. И мне вдруг показалось, точнее, я поняла, что Лиза всегда была где-то очень далеко от меня, гораздо дальше архангельской деревни или даже Америки, там, куда мне нет доступа. И меня охватила какая-то жгучая зависть — до тоски, до злобы. И недавняя жалость к Лизе сменилась злорадством и садистским желанием жестокости.

— А знаешь, Лиза, кто убил-то? — оскалилась я.

— Нет... — Лиза удивлённо подняла брови. — Откуда же мне знать...

— Я! Лиза...

Вскочив зачем-то с места, я расхохоталась. Мне было не смешно, но я хохотала, как безумная. Больше всего на свете мне хотелось тогда испугать Лизу, хотелось насладиться сполна подстроеной мною же пакостью.

Лиза внимательно и несколько удивлённо следила за мной.

— Зачем? — вдруг совершенно спокойно спросила она.

Меня задело, что она не усомнилась в моих словах и как-то сразу приняла их на веру.

— Не знаю, Лиза! — вскричала я. — Не знаю... Из-за тебя, может... Из-за Ильи, из-за Абрамки, из-за меня самой... — И, помолчав немного, добавила: — Скучно, Лиза.

И уселась обратно на софу.

Мне, правда, вдруг сделалось скучно. Но главное, страшно. Именно в тот момент я поняла, что в действительности я пришла к Лизе потому только, что меня давно уже перестала забавлять подстроеной пакостью.

— Зря ты, — сказала Лиза.

— Понятно, зря... — усмехнулась я, но тут же сообразила, что Лиза говорит о другом.

— Зря ты так себя выворачиваешь, — пояснила Лиза.

— Как это... “выворачиваешь”?

— Ты свою изнанку за лицо принимаешь. Вот и всё. Вот и вся ты. Оттого и скучно.

— Не понимаю я тебя, — вздохнула я. — Всё, что ни скажешь, — ничего не понимаю.

Лиза дёрнула плечом и отвернулась к окну.

— Что же... ты и в суд на меня не подашь? — точно надеясь на что-то, спросила я после короткой паузы.

Лиза усмехнулась.

— Я-то уеду... А ты сама на себя в суд подала.

Я ещё посидела немного, но было уже понятно, что все слова с этой минуты будут не просто лишними, но и вредными. Тихо, словно опасаясь, что Лиза повернётся ко мне, я поднялась и крадучись вышла из флигеля.

Лизы я больше не видела.

### ХШ

Всё это было чистой правдой. Это я отравила Абрамку.

Сейчас, спустя время, я сама удивляюсь тому, что совершенно не думала в ту минуту об этом убогом. Я была возбуждена и взвинчена, мне хотелось проучить Лизу и поразить Илью. Странно теперь вспоминать, с какой лёгкостью я насыпала Абрамке крысиного яду. Но всё это представлялось мне тогда только отчаянной штукой, одновременно дерзкой и забавной. Не было в тот момент передо мной грани, отделяющей человека от уничтожения себе подобных! Не пойму я только, когда и почему эта грань стёрлась. Ведь не месть даже, скорее, баловство заставило меня взять чужую жизнь. Да ещё, помню, как я обрадовалась, что Абрамка так кстати пришёл!

В ту минуту я не раздумывала специально о возможном наказании. Но как-то безотчётно понимала, что его не будет: никто не мог видеть меня, а если и видели, Иван Петрович не позволил бы дать делу ход.

Конечно, это была не просто шалость. Пожалуй, это был вызов. Лизе — потому что на неё могут подумать. И, обвинённая в совершённом не ею преступлении, станет ли она, как все, искать правды по судам или же явит собой образец кротости и всепрощения? Конечно, я была уверена, что последнее невозможно.

Илье — потому что он всегда терпеть не мог Абрамку, но в неприязни своей ни за что не посмел бы зайти дальше проклятий и грязных ругательств.

Матери — потому что с некоторых пор эпатировать мать сделалось для меня удовольствием.

Ивану Петровичу — потому что это происшествие могло бы устроить значительную брешь в его карьере, и то-то я посмеялась бы!

Всему городу — потому что одни глупо благоговели перед дурачком-Абрамкой, другие, подобно Илье, терпеть его не могли. И, как Илья, никогда не решились бы на такой поступок, хотя исходу, я уверена, были бы рады.

Словом, видя во всех одну только ложь, я хотела, чтобы все они обнажились, я презирала их и заранее смеялась над ними. Было и ещё кое-что. Вообще мысль эта пришла как-то вдруг. И вот что мне вспомнилось. Как там у Достоевского? Раскольников делит людей на обыкновенных и необыкновенных, на старушенок и Наполеонов. Ну, сам-то, понятно, метил в Наполеоны, оттого и вывел, что убийством должен проверить себя: “тварь ли он дрожащая или право имеет”. Но всё это не то! И всё это совершенно несовременно. Дело вовсе не в том, *тварь ли я*, например, *дрожащая или право имею*. Я совсем не хочу быть каким-нибудь Наполеоном и не хочу осчастливливать одних за счёт других. Мне вообще наплевать на всех! Я, может быть, хочу оставаться совершенно обыкновенной, даже более обыкновенной, чем та старушонка, но принадлежать к избранным и не *право иметь*, а пропуск на Олимп. Мне не нужно распространять великие и полезные всем идеи с возможными при этом жертвами, я не готовлюсь забыть свою армию в песках Египта или снегах России. Я всего лишь желаю примкнуть к золотой части человечества, пребывая в уверенности, что мир существует для моего удовольствия. И пусть я ещё не примкнула, но уже воспринимаю остальную часть как... Как они того и заслуживают! И вот же: я делаю первый шаг, чтобы для самой себя обозначить своё место, чтобы никогда уж не позабыть своей цели, потому что *Рубикон пройден*.

Это сейчас я ужасаюсь, хотя ужас и удивление кажутся мне решительно чужеродными моим идеям и взглядам. Я ещё не во всём разобралась, и в голове у меня много путаницы. Но я хочу быть последовательной, для чего и стараюсь соотносить идеи и чувства. И в этом случае выходит, что поступок мой совершенно нормален: никаких великих дел, просто устраняю то, что мешает и путается под ногами.

В тот вечер все были возбуждены: вином, разговором, музыкой. Когда все разошлись, когда Иван Петрович с матерью отправились спать, я в своей комнате поджидала Илью.

Я кружилась, я напевала мелодию из “Горного короля” и чему-то смеялась. Волосы мои оставались распущенными. Я была в каком-то чаду.



Наконец звякнуло стекло под его пальцами.

Но не успела я запереть за Ильёй створки, как снова стукнула калитка, и снова заскрипел песок под чьими-то ногами. Я высунулась в открытое окно: по нашей дорожке влачился Абрамка. Он уселся на скамеечку под моим окном и застал:

— Водички... Дайте Васе водички...

Теперь я смеялась под стоны Абрамки и проклятья Ильи.

— Что за чёрт принёс его! Надо было именно сейчас притащиться... Иди отсюда! — зашипел Илья, свесившись через подоконник, так что белая в синюю полоску рубашка его вылезла из-под брюк и заголила спину.

— Тихо! — шепнула я в самое ухо Илье. — Мать услышит...

— Ублюдочная рожа!.. Твоя мать и его услышит... И что, придёт?

— Водички... Дайте Васе водички... — донеслось с улицы.

— Чтoб ты сдох... — шипел Илья.

— Мать на него внимания не обратит. А вот если ты будешь орать, она точно придёт.

— Ну, чего таскается!.. Урод... И как его до сих пор не прибил никто?..

— Дайте Васе водички...

— Заткнись! Убью!.. Ну, кто этому придурку разрешает шататься? А? Зачем вообще жить такому уроду? Говорят все про эвтаназию... вот к таким бы применяли...

— Водички...

— Да пошёл ты!.. Слушай, а его надо к твоей сестре... Вот была бы пара! Откуда только такие берутся? Ну, этот урод — ладно, его в крапиве нашли. А сестра твоя? Вот чудила... Её вроде твой отчим родил? А? Откуда она вообще взялась?

— Из архангельской деревни...

— Хм... Оно и видно! Вот тоже ещё... мыслитель из народа... самородок хренов...

— Дайте Васи водички...

— Так... всё... Дай ты ему воды! Пусть заткнётся!.. А то я уйду...

И вот именно в ту минуту в голову мне пришла блестящая, как показалось тогда, мысль. Я побежала на кухню, налила в стакан воды. Да, это был тонкостенный стеклянный стакан с нарисованным олимпийским медведем — символом Московской Олимпиады—80. Потом я присела и вытащила из-под буфета дощечку с крысиным ядом. Точнее, крышку от использовавшихся когда-то почтовых ящиков. На этой дощечке был насыпан яд вперемежку с какой-то приманкой. Я присела со стаканом в руках перед дощечкой, взяла изрядную щепоть порошка и бросила её в воду. Потом снова задвинула дощечку под буфет. Оставив стакан на полу, вымыла тщательно руки, стряхнула брызги в мойку, потом подхватила стакан и поспешила на двор.

Удивительно, но сейчас я в точности не помню, сначала ли я подсунула ему эту “водичку”, а уж затем повлекла к флигелю, сама — по траве, а он — по песчаной дорожке, или всё было наоборот? Оставив Абрамку на ступеньках, я побежала на кухню. Дважды вымыла я стакан с моющим средством, насухо вытерла полотенцем и вернула на прежнее место в буфет.

Илья ждал меня в комнате, но я снова выскочила на улицу. Я была в каком-то сильнейшем, диком возбуждении, так что сама себе казалась пьяной. Я понимала: с точки зрения обычной морали, то, что я сейчас сделала, было отвратительно и ужасно. Но, по-видимому, мерзость содеянного и пьянила меня. Я всецело отдалась неистовству, клокотавшему в груди и шумевшему в голове. Только единожды взглянула я на Абрамку: сидя на ступеньках крыльца, он держался за баясину и молча раскачивался из стороны в сторону. Полная луна ярко освещала двор. И Абрамка в лунном свете казался прозрачным. Я остановилась, подставив лицо луне, и вспомнила вдруг, как мечтала давеча сбросить с себя всю одежду. Я молча расхохоталась, и в ту же секунду всё, что было надето на мне, оказалось на земле. Ах, какая блаженная лёгкость охватила меня! Хотелось лететь, кружиться в пляске и чтобы со мной рядом плясали такие же, как я.

Но, вспомнив, что меня ждёт Илья, я подхватила одежду и взлетела по ступеням крыльца. Дверь не стукнула, ни одна ступень не скрипнула. Илья не услышал, как я вошла в комнату. И когда, обернувшись, увидел меня, испугался. Но я, подскочив, закрыла ему рот рукой. Я хохотала беззвучно, и мне казалось, что кожа моя светится в темноте и глаза горят ярче звёзд. Но Илья молчал. А потом спросил, что я делала на улице. И я рассказала ему всё. Он слушал, и в глазах его был ужас. А когда я кончила, он назвал меня безумной и встал, чтобы уйти. Но я вскочила и обняла его. Я хохотала и целовала его так, что он остался.

Потом он спросил меня:

— Ты не боишься?

— Чего? — усмехнулась я.

— А чего ты боишься? — помолчав немного, переспросил Илья.

Я задумалась. Конечно, я боюсь тараканов, боюсь быть никому не нужной, боюсь нищей старости — да мало ли чего я боюсь! Но всё это было не то. И я понимала, что Илья спрашивает не об этом. Тогда я закрыла глаза и стала представлять себе всё, чего я боюсь, всё разом. Кишащие тараканы, нищая старуха — всё это мысленно проходило передо мной. Наконец, я увидела её. И от одного только воображаемого её вида я содрогнулась, я поняла, что это воплощение всех моих страхов.

— Я боюсь... — сказала я Илье, — я боюсь высокую, толстую женщину. Такую рыхлую, отвратительную толстуху на воспалённых ногах. Неприятную и зловонную. Ей лет шестьдесят. У неё седые, залезанные назад жирные волосы, круглые очки и огромный серый берет... А может, измятая шляпа... У неё гнилые зубы, прищуренные глаза и улыбка. Всегда улыбка. Это не глумливая улыбка, но это плохая улыбка... Может быть, это самое страшное, что есть в ней... Вот этой женщины я боюсь.

— Ты сумасшедшая, — прошептал Илья. — И что ты теперь будешь делать, я не знаю.

Уже светало. Илье пора было уходить. Он поднялся и медленно стал одеваться.

— Зато я знаю! — расхохоталась я, и это была последняя, усталая вспышка моего ночного неистовства. — Теперь, если мне что-нибудь не понравится, я донесу на тебя!

— Тогда я донесу на тебя... — огрызнулся Илья.

Я улыбнулась: он снова становился самим собой, мой грубый, самовлюблённый хахарь.

— Ты забыл: я боюсь толстой женщины, а не тюрьмы.

— Там в тюрьме ты обязательно встретишь толстую женщину.

— Ничего. Я утешусь, что ты в соседней камере.

Илья ушёл. А примерно через час меня разбудил крик матери.

#### XIV

Вслед за смертью Абрамки и изгнанием Лизы произошло новое странное и страшное событие, ставшее, однако, последним в ряду тех замечательных и чрезвычайных событий, которые случились одновременно. Точно какие-то невидимые и злые силы ступились над нашим городом и произвели в нём настоящее разрушение. Признаться, никогда меня не покидало чувство, что всё произошедшее было не простой случайностью, а закономерным и ожидаемым следствием каких-то общих процессов, давно начавшихся и тянущихся до сих пор.

На другой день после моего признания Лизе Иван Петрович снова привёз к обеду Люггера. Обедали четвером, без Лизы. Но все видели её отсутствие и, памятуя о причинах, чувствовали себя неловко. Только мать хорохорилась и старалась глядеть с непринуждённой весёлостью, точно и Лизу-то она выгнала, не отдавшись злomu, мстительному чувству, а руководясь гневом праведным.

В пять часов во дворце имени Радека у Ивана Петровича была назначена встреча с отцом Мануилом. Встречу предполагалось устроить в виде

открытого обсуждения или обмена мнениями, для чего и вход решено было оставить свободным. Специально о проведении встречи не объявляли, но люди посвящённые могли присоединиться, чтобы высказать предложения или просто выговориться.

Напросилась и я поехать с Иваном Петровичем.

— Ты?! — удивился было он в ответ на мою просьбу. — Ты хочешь участвовать? Ну что ж... пожалуй... поедем. Я думал, Лиза... ну, да, впрочем...

Предстоящая встреча не сулила Ивану Петровичу ничего приятного. Даже думал о ней он с большим неудовольствием.

— Набежит на эту встречу народу пустого, — сокрушался он за обедом. — С одной стороны — патриоты. Местная, патриотически, так сказать, настроенная интеллигенция. С другой стороны — богомольные девки и бабы. Злые, как черти. Все отчего-то косноязычные... Освящали тут источник. Одна, значит, для прессы... Сей, говорит, колодчик... Ну, почему ж непременно “колодчик”? Почему не колодец...

— Колодчик? — рассеянно переспросил Люггер.

— Именно! И так, знаете, жалобно, так тихо... Что ты будешь делать! И крестятся все, крестятся... С залипанием, иначе не скажешь.

— Как это так? — поинтересовалась мать.

— Да так, что пальцы ко лбу прилипают. А человека-то вот сожрать готовы... Я не спорю, ведь и я сожрать готов. Да ведь я в святые не ряжусь. Платками не обматываюсь, физиономию в постные узоры не складываю и язык не коверкаю... Не юродствую, одним словом. А если ты вырядился в постные одежды, так будь примером грешным людям! Да, может, я, на святого глядячи, и сам святым сделаюсь!..

— Ой! — веселилась мать. — Святой выискался...

Люггер хоть и ел, как обычно, с большим аппетитом, казалось, тоже был чем-то встревожен.

— Удивительное дело, — разговорился он за чаем. — Соседка, моя соседка, утверждает, что видела у меня в окне голую женщину в огненном платке. И что будто бы эта женщина вышла от меня через окно веранды.

Я точно окаменела, я боялась поднять глаза на Люггера. Мне казалось, что он неспроста завёл этот разговор. И стоит ему перехватить мой взгляд, как в ту же секунду он расхохочется и уличит меня перед всеми. Но в то же время мне вдруг неудержимо захотелось взглянуть на Люггера.

— Ну, если б ещё вылетела! — усмехнулся Иван Петрович.

— Вот вам смешно, Иван Петрович, а я что должен думать?

— Да ничего не думайте, Аркадий Борисович! И думать-то нечего... Тем более, вы, с позволения сказать, один объяснить можете.

— Да не было никаких женщин! — воскликнул Люггер.

Я усмехнулась: впервые Люггер вышел из себя. Не выдержав, я подняла глаза: Люггер и забыл обо мне. Мало-помалу я успокоилась.

— Это ваше дело! — с каким-то не то самодовольством, не то ехидством произнёс Иван Петрович. — Мы с вас ответа не требуем...

— Не было, говорю вам, не было никаких женщин! — горячо настаивал Люггер.

— Ну, не было, так и не было, а хоть бы и были! Да и соседке могло померещиться. Мало ли что в глаза-то лезет! — Иван Петрович мелко рассмеялся. — Больше всего мне про “огненный платок” понравилось. Значит, именно в огненном!..

— Странно, что это в один день: дверь, женщина в окне...

— Ну, дверь, положим, вы сами не заперли. А “женщина в огненном платке” — это уж соседкины видения! Вы бы поинтересовались... Может, она и змея зелёного видела...

— Да ведь окно было открыто...

— И что же... Пропало что-то?

— Кажется, нет. Но... ведь я... я плохо знаю дом...

— Вы бы заметили следы или что-то... А потом! — Иван Петрович рассмеялся. — Кто ж это голым ходит грабить, Аркадий Борисович! Бред какой-то, как ни крути! Если всё на месте и ничего не пропало, советую вам

забыть эти сказки про женщин в огненных платках. Соседка-то ваша, поди, любительница абсента, а? Напробовалась до бесовидения, так хоть бы молчала... Нет, Аркадий Борисович! Этот народ невежда в законе, проклят он...

— Племя злодеев, сыны погибельные, — подхватил, усмехаясь, Люггер.

— Истинно так, — согласился Иван Петрович.

И, помолчав, добавил:

— Пустое всё это, пустое!

— Не знаю, — неуверенно отвечал Люггер. — Не знаю...

— ...Конечно, отец Мануил — это человек, пользующийся повсеместным уважением, — продолжал сетовать Иван Петрович уже в машине по дороге к Дворцу культуры. — Но это же камарилья!.. И ведь вся эта благочестивая гвардия сейчас явится на встречу, чтобы забрасывать меня горящими взглядами и колющими вопросами. “Остаётся удивляться, как это в городе ещё ходит общественный транспорт и зажигаются фонари!” — Иван Петрович смешно передразнил чей-то женский голос.

— Что такое? — не понял Люггер.

— А это они, Аркадий Борисович, про меня в газетах пишут.

Иван Петрович задумался...

Собственно, я только предположила, что он задумался, поскольку не видела его лица. Иван Петрович с Люггером помещались на заднем сиденье служебного автомобиля Ивана Петровича. Меня же усадили рядом с водителем, которому велено было поторапливаться.

Дело в том, что Иван Петрович опаздывал на встречу. Мать, узнав, что к обеду придет Люггер, подала и горячее, и холодное, и тельное, а к чаю — ещё и пирожки с брусникой. И обед здорово затянулся. Не думаю, чтобы обед вообще мог иметь какое-то влияние на ход жизни Ивана Петровича. Вероятнее всего, Иван Петрович позволил себя задержать. Осознанно или нет, малодушно стараясь оттянуть неприятную встречу или расчётливо желая заставить ждать себя, но Иван Петрович опаздывал...

— Ну, это естественно, Иван Петрович! Это вам не женщина в огненном платке. В России теперь демократия, как во всём цивилизованном мире. И оппозиция...

— А-ай! Бросьте, Аркадий Борисович! Демократия, оппозиция... Оппозиция себя тешит. Вот вам тайна века сего: всяк себя тешит. Причём кто как может. Взять хоть наш городишко... Фантазии у местных немного, так ничего лучше не придумали, как писать...

— Писать?! — удивился Люггер. — Что же они пишут?

— “Что!” Это ж не город, а литературный клуб какой-то... А уж мне-то как надоели эти писатели!.. То им денег, то помещение, одному книжку издай, другому презентацию созови... И каждый-то в глаза заглядывает — восхищения талантами ищет...

— Да? — удивился Люггер. — Я не знал, что ваш город... такой литературный.

— Ну, как же! Даже бабенка ваша стишками баловалась. Неужто не знали?

— Нет!

— Как же это у неё... Да вот: “Пробирался раз медведь сквозь густой валежник. Перестали птицы петь, и родился Брежнев”. Не слышали?

Люггер молчал. Мне очень хотелось видеть его лицо, но было неловко обернуться. Иван Петрович, как настоящий артист, выдержал паузу и от души расхохотался. Даже водитель затрясся от беззвучного смеха и замотал головой, точно хотел сказать: “Молодец, Иван Петров!”

— Шутка, Аркадий Борисович! Шутка... Это присказка такая...

— А-а-а! — сообразил Люггер. — А я уже подумал, что у вас все в таком роде пишут.

— У нас как только не пишут! У нас, Аркадий Борисович, каждый второй — публицист, каждый третий — поэт, каждый десятый — беллетрист. Даже Лито есть. Во главе с известным поэтом.

— Как вы сказали? Ли-то?

— Литературное объединение. Действительно, вроде клуба... Чердачников руководит. Не слышали?

Последовала пауза. Люггер, очевидно, сделал какой-то знак, имея в виду, что знать не знает никакого Чердачникова.

— Пётр Чердачников, — продолжал Иван Петрович. — Человек-то не старый... Да вот, решил переселиться в провинцию. Поближе, так сказать, к народу. Это, знаете, русская литературная традиция — в народ ходить. А народ-то по сей день смотрит на них и думает: “Чего эти ряженные к нам таскаются?” Это у Толстого, кажется, что-то такое было... Впрочем, Чердачников в Москве, в Литературном институте лекции почитывает. Посидит, посидит у нас — и лекции читает.

— И что? Хорошие стихи?

— У Чердачникова?.. Какие у мракобеса стихи! — ухмыльнулся Иван Петрович.

— А что... он мракобес?.. Что значит — “у мракобеса”?

— Для кафе подходящее название. А? “У Мракобеса”!.. Каково?.. Обрядился он, Аркадий Борисович, в доспехи борца за чистоту русского языка, вооружился лозунгами чистки литературы от графоманов — и в бой...

— В бой?

— Это в фигуральном смысле... Но поскольку до провозглашённого идеала ему и дела нет, он и ему подобные топчут всё вокруг — и своих, и чужих... Да я, Аркадий Борисович, хоть и небольшой знаток литературы, но голову даю на отсечение: явись завтра новый Гоголь, и все эти радетели его не то что не заметят, а и затопчут, объявят графоманом и на что-нибудь оскорбятся... Ханжи!.. Да и не хотят они никакого Гоголя! Появись только Гоголь, как все они останутся не у дел. Ругать некого будет... Этот Гоголь отнимет у них хлеб и даже, я бы так сказал, интерес к жизни. Литераторы-то они так себе... польститься, что называется, не на что. А как борцы, они всюду правы и ото всех уважаемы.

— Да, — согласился Люггер, — есть люди, которые ничего другого не умеют...

— Они не то, чтобы не умеют... а только славы очень хотят. А потому всяк себе служит и всяк себя тешит, Аркадий Борисович. А и то бывает, что любуются собой безо всякого прибитку... Чисто кликуши... или юродивые.

— Опять юродивые? — усмехнулся Люггер.

— А что делать, Аркадий Борисович? Что делать, коли у нас в городе через одного все юродивые! Юродивые себя ради.

Я чуть не вскрикнула. Вчера под диваном Марии Ефимовны этим словом я назвала самого Ивана Петровича. И вдруг сегодня Иван Петрович проносит его вслух! Уж не читает ли он мысли? Чердачниковым Иван Петрович точно хотел усыпить мою бдительность, чтобы затем, выбрав момент, огорошить необъяснимым совпадением.

Впрочем, это был тот редкий случай, когда я целиком разделяла мнение Ивана Петровича. Как и всем в городе, мне прекрасно известен Чердачников. Этот томный господин с выдающимся волнистым профилем смотрит вокруг себя не иначе, как из-под полуприкрытых век. Говорит он тихо и медленно, пытаясь тем самым придать себе пуще достоинства и внушительности. Стихи и разного рода статьи под его подписью публикуются во всех наших изданиях.

Стихи его неплохие — складные и даже обременённые мыслью. Но никогда ни одна его строфа не испугала и не насмешила меня. Ни разу мороз не пошёл по коже и слеза не выкатилась из глаз. Вялые, дряблые строки его не заразили меня ни ненавистью, ни отвращением, ни любовью. Статьи, звавшие на борьбу, не заставили бы меня сойти с дивана. Многословный и в витийстве своём несодержательный, Чердачников, любуясь кружевами собственных словес, забывал, казалось, о взятой на себя роли трибуна.

— А ведь я наперёд знаю, о чём разговор пойдёт, — продолжал тем временем вздыхать Иван Петрович. — Не делайте парк скульптур, не стройте храма, не созывайте Совет... А то, что деньги в бюджет потекут, — до этого и дела нет никому. Ходить с протянутой рукой все мастера. А вот чтоб зарабатывать... Они вместо этого к совести моей взывать станут. Любят стыдить —

хлебом не корми. Сами бы лучше к народу лицом повернулись. Вон католики как агитируют! А нашим на всё наплевать, только деньги им дай. В других церквях — скамеечки, молитвословы. А тут — грязные подолы перед носом, никакого молитвенного настроения...

Про себя я усмехнулась: ну, кто бы мог подумать, что наш Иван Петрович снедаем ревностью по доме Божьем!

— Ну... вот и приехали!.. — вздохнул Иван Петрович. — Это, Аркадий Борисович, и есть Дворец культуры имени Радека...

## XV

Впоследствии от Вероники Евграфовны, пришедшей на встречу более из любопытства, нежели из желания выказать поддержку одной из сторон, я узнала, что же происходило во дворце имени Радека до нашего прибытия.

Отец Мануил явился на встречу строго к назначенному времени. Мало-помалу, предворяя благочинного или вслед ему, собрались и все, изъявившие желание участвовать в обсуждении. Не было только Ивана Петровича.

Спустя некоторое время кто-то из окружения отца Мануила выразил намерение справиться об Иване Петровиче по телефону. Но благочинный воспрепятствовал и призвал собравшийся люд запастись терпением и не суетиться понапрасну. Слово пастыря возымело своё действие: суета улеглась понемногу.

Но дни стояли жаркие, и в зале заседаний, где собрались за круглым столом участники встречи, было душно и пахло пылью. Кто-то, — кажется, Чердачников — предложил переместиться в фойе, где легче дышалось и где вдоль стен стояли мягкие красные кресла. Предложению обрадовались. И вслед за отцом Мануилом все спустились со второго этажа вниз.

Все потели, обмахивались газетами, а поклонницы отца Мануила промакивали лица кончиками своих платков. На месте никто усидеть не мог. То и дело вскакивали и принимались прохаживаться в надежде расшевелить загустевший от жары воздух. Пробовали выходить на улицу, и точно в парной оказывались. Только отец Мануил неподвижно сидел в своём кресле. Как всегда, суров и спокоен.

Вероника Евграфовна утверждает, что и тогда уже он был бледен, а “вокруг глаз у него синева выступила”. Кто-то выразил готовность сходить в ларёк за водой для отца Мануила — буфет во Дворце культуры открывался в шесть тридцать. Но благочинный отклонил предложение.

— Нехорошо... — сетовала потом Вероника Евграфовна. — Как просителя какого истомил Иван Петрович нашего батюшку...

Мы подъехали к дворцу культуры без десяти шесть. Наше прибытие было немедленно замечено, и в фойе всё забегало, зашевелилось. Поднялся и вышел навстречу Ивану Петровичу и отец Мануил.

— Каюсь! Каюсь, батюшка! — с порога загоготал Иван Петрович. — Простите, что заставил ждать. Ей-богу! Ей-богу, батюшка, стыжусь!..

— Ничего, — спокойно и внушительно отвечал отец Мануил. Голос его был слабым, лицо осунулось, вокруг глаз, действительно, легли синеватые тени. — “Стань всем слугой”, — завещал Господь наш. И Сам пред Тайной Вечерей омыл ноги всем ученикам своим.

— Включая Иуду, — шепнул кто-то из-за спины отца Мануила.

Иван Петрович не обратил внимания на “Иуду”.

— Как чувствуете себя? — спросил он с наигранной заботой, заметив, очевидно, перемену в лице отца Мануила.

Благочинный едва заметно сдвинул брови.

— Благодарю вас, Иван Петрович, неплохо. Однако...

— Ну, и слава Богу! — перебил Иван Петрович и навесил на себя люгеровскую улыбочку. — Слава Богу!.. Да ведь мы с вами, батюшка, ещё и не поздоровались.

И с этими словами Иван Петрович шагнул к отцу Мануилу и троекратно — по-русски — расцеловал его. Благочинный нахмурился и вздрогнул, точно желанием его было отшатнуться.

— Мы с вами не в Гефсиманском саду, Иван Петрович, — тихо сказал отец Мануил и покосился отчего-то на Люггера.

Но Иван Петрович не унимался. Любитель дешёвых эффектов, он не обратил никакого внимания на слова отца Мануила — ему во что бы то ни стало хотелось довести до конца задуманный им спектакль.

— Благословите, отец Мануил, — слащаво и нараспев вдруг проговорил он и, словно нищий, вытянул вперёд руку.

Не зная толком, как следует испрашивать благословения у иерея, Иван Петрович мог бы показаться нелепым и жалким, если бы не задор, с каким обращался он к благочинному. Именно благодаря этому сочетанию задора с полным незнанием церковного этикета, Иван Петрович глядел каким-то бесом-искусителем, материализовавшимся только затем, чтобы поколебать отца Мануила.

Благочинный, не шевелясь, смотрел из-под нахмуренных бровей на Ивана Петровича. Пауза затянулась. Вокруг всё стихло. Только с улицы доносились звуки.

— Благословите, Владыко! — жалобно повторил свою просьбу Иван Петрович, обращаясь к отцу Мануилу не по чину. — Благословите!

Отец Мануил вздрогнул, рука его со сложными для благословения перстами шевельнулась, но в ту же секунду упала. Глаза, наполнившиеся вдруг невыразимым ужасом, устремились куда-то поверх головы Ивана Петровича. Казалось, он смотрит на Люггера, отчего все, проследившие за взглядом отца Мануила, повернулись к американцу. Люггер стал озираться испуганно и даже сделал шаг назад, как вдруг отец Мануил покачнулся и рухнул на пол.

— Не благословить не мог и благословить не смог, — шёпотом передавала потом Вероника Евграфовна.

Вся “благочестивая гвардия”, как назвал этих людей Иван Петрович, запричитала на разные голоса и обступила отца благочинного. Ивана Петровича, Люггера и меня отгеснили в сторону. Замелькали мобильные телефоны — сразу несколько человек пытались вызвать “скорую”, — запахло валидолом, послышались всхлипывания и неразборчивое бормотание — наверное, слова молитв.

— Иван Петрович, — тихо, наклонившись к самому уху Ивана Петровича, проговорил Люггер, — лучше уехать. Здесь без нас разберутся. Мы уже не нужны.

— Да, да, конечно...

И, бросив мне повелительное “идём”, Иван Петрович направился к выходу. Я поняла, что сейчас лучше повиноваться, и последовала за Иваном Петровичем. Рядом поспешал Люггер.

Со слов Вероники Евграфовны, “скорая” приехала спустя двадцать минут. К тому времени благочинный преставился.

## XVI

На другой день Люггер покинул наш город. По слухам, он отправился в Москву. Ни со мной, ни с матерью проститься он не пожелал. И мать, конечно, затаила обиду. Кажется, этот отъезд стал неожиданностью и для Ивана Петровича. Но точно сказать не могу, поскольку Иван Петрович, застыдившись, очевидно, своего расположения к Люггеру, на которое тот ответил совершенным безразличием, ничего не рассказывал дома. А на все вопросы матери отвечал неопределённо.

Как-то вечером, дня три или четыре спустя, мать, расположившаяся в гостиной перед телевизором, вдруг заголосила, как будто снова увидела перед собой мёртвого Абрамку. Иван Петрович, а за ним и я прибежали на её крик.

— Люггер!.. — пронзала она воздух перстом указующим, и голубые блики от экрана отскакивали от её перламутрового ноготка. — Люггер!..

Мы застыли. Шёл репортаж о некоем гражданине Соединённых Штатов, задержанном в аэропорту Шереметьево-2 при попытке перевезти через

границу несколько советских плакатов и старинных икон. Лица задержанного так и не показали, но мать уверяла и даже божилась, что лицо всё-таки мелькнуло, и она успела признать Люггера. В доказательство она привела неоспоримый довод:

— Чего бы я стала вас звать, если это не он!..

Мы с Иваном Петровичем сочли нужным промолчать, но, кажется, подумали об одном и том же.

На другой же день мать понесла по городу весть, что “Люггер-то проходившим оказался”.

— Видали? — обращалась она к знакомым на улице. — Люггера-то нашего в Москве с поличным взяли.

При этом весь вид её излучал какую-то непонятную и не идущую к делу торжественность, точно это она сама помогла московским таможенникам взять Люггера с поличным. Кроме того, в словах её слышались неясные намёки на существующую будто бы связь между Люггером и сёстрами Ивана Петровича. И хотя ни Ольга Петровна, ни Татьяна Петровна не вели знакомства с Люггером, со слов матери выходило, что все они чуть ли не сообщники. Во всяком случае, они “нашли, кого пригласить, неспроста это, уж точно...” Иван Петрович в который раз пытался внушить матери, что верит она своими фантазиями не золоткам, а исключительно ему самому. Но на мать эти увещания не действовали, поскольку она и тут пребывала в искренней убеждённости, что долг её как подруги жизни раскрыть всему городу глаза на неприглядное влияние Ольги Петровны и Татьяны Петровны на своего несчастного и добрейшего брата. И если в городе не всё ладно, если Иван Петрович, как всякий человек, допускает ошибки, то виной всему его злодейки-сёстры. Но тут же мать спотыкалась и являла всему свету истинные причины своего возмущения:

— А у нас-то столовался — из-за стола и не вылезал! И ел-то как по многу... И ведь ничем не отблагодарил! Попрощаться даже не зашёл. А к себе и ни разу не пригласил. Не говорю уж в Америку, здесь-то ни разу чайку не предложил!.. А ест-то так много, много и быстро так!.. Голодные они там, что ли, в своей Америке?..

Подтверждений тому, что задержанным в Шереметьево-2 действительно оказался Люггер, так и не нашлось. К Ивану Петровичу не обращались ни из Интерпола, ни из каких бы то ни было других могущественных организаций. Правда, и никаких опровержений мы не получали. К тому же Иван Петрович наотрез отказался звонить в Балтимор, объяснив свой отказ тем, что не видит в таком звонке никакой необходимости, а забот у него и так слишком много. Словом, в истории с Люггером каждый верил в то, во что хотел верить.

А забот, действительно, прибавилось у Ивана Петровича. Не успели в городе забыть Абрамку, не успела оппозиционная пресса насладиться послевкусием собственной жёлчи, разлитой в связи с таинственной гибелью несчастного юродивого, как всех потрясла и отвлекла на себя гибель отца Мануила. И снова оппозиционеры обмакнули свои перья в жёлчь. А Чердачников написал даже стихотворение под названием “На смерть праведника”. Стихотворение это печаталось во всех наших изданиях. Поэт воспевал добродетели отца благочинного и разъяснял значение его личности в русской истории. Была и строфа, посвящённая преступной власти, убившей отца Мануила. В олицетворявшей власть фигуре угадывался Иван Петрович. Чердачников сравнивал его с Малютой Скуратовым и пророчески обещал, что и его, Ивана Петровича, имя так же будет предано народному проклятию, как имя злого опричника. “Враги народа нарекутся именем твоим!” — грозил Ивану Петровичу поэт и гражданин Чердачников.

Иван Петрович ознакомился со стихотворением и заметил только, что “теперь про Малюгу Скуратова иначе пишут”.

Но, признаться, всё это перестало интересоваться меня, потому что с некоторых пор у меня началась новая, хоть и невидимая постороннему глазу жизнь.



## XVII

Прошла неделя с той самой ночи. Всё это время Илья не был у меня. Я не смущалась: бывало, мы ссорились, бывало, у него находились дела.

Он появился как-то вечером, когда все мы были дома. Я удивилась, что он не дождался ночи и не вошёл ко мне, как обычно, через окно. Но всего более удивило меня то, как он держался. Развязный обыкновенно, в этот раз он мялся и даже, как мне показалось, избегал смотреть на меня.

Из-за этой странности я сразу насторожилась. Я впилась глазами в Илью: вот он садится в кресло, не откинувшись на спинку, не развалив под тупым углом ноги, но на самый краешек. И одна только вольность, какую он позволяет себе, это опереться локтями в колени. Вот он косится на меня и часто-часто моргает. Вот поджимает губы, вот крутит в пальцах завалившийся в кресле и подвернувшийся очечник.

Кажется, ни мать, ни Иван Петрович не заметили всех этих странностей, что сразу бросились мне в глаза. Мать, которой решительно не было известно, знает или нет Илья об открывшихся ей проделках Люгтера, даже обрадовалась его приходу.

— Что-то тебя, Илюшка, давно не было видно? — ласково заговорила она с дивана, на котором уютно устроилась, вытянув перед собой ноги в ярких полосатых вязаных носках.

— Дела были, — буркнул “Илюшка” и покраснел.

Этот румянец сразу бросился мне в глаза и пуще прежнего разволновал меня. Я вдруг подумала, что не припомню, чтобы Илья когда-нибудь краснел.

— А-а-а... — с деланным безразличием протянула мать. — Какие дела-то?

— Разные, — покосился на матернины носки Илья.

— Разные? — переспросила мать в нерешительности, раздумывая, очевидно, как ей вести себя дальше: рассердиться на дерзкого Илюшку или обратить его дерзость в шутку. И поскольку на тот момент мать была вполне довольна и собой, и жизнью, она предпочла пошутить.

— Ну, какие это у тебя могут быть “разные дела”? — с весёлым кокетством обратилась она к Илье. — А? Ну, какие?.. Ох, молодёжь! Ну, до чего ж деловые!..

— А это правда, что вашего американца посадили в Москве за воровство? — спросил вдруг Илья у матери и усмехнулся чему-то.

Странно, но я, как только он задал этот вопрос, преисполнилась уверенности, что говорит он совсем не то, что хочет сказать. И всего вероятнее, что он боится начать неприятный для него разговор.

— Откуда ты знаешь? — мать округлила глаза, а пальцы её ног, окутанные цветной пряжей, задвигались нетерпеливо.

— Говорят...

— Кто? Кто тебе сказал?

Илья в ответ только пожал плечами.

— Слушай-ка! — завелась мать. — Уже слухи... Во-первых, он не наш американец. Это его Ольга Петровна и Татьяна Петровна пригласили, это их приятель...

Иван Петрович, расположившийся в углу в кресле и отгородившийся от нас газеткой, не то вздохнул, не то зевнул из своего угла.

— Во-вторых, — не обращая внимания на Ивана Петровича, продолжала мать, — его в Шереметьево взяли... в Шереметьево-два... Я сама видела... С иконами взяли и с плакатами какими-то. В чемодане нашли у него, я сама видела... В Шереметьево, а не на улице в Москве... Надо же кому-то сочинить! — обратилась мать ко мне.

Я кивнула.

— Слушай-ка, — мать снова переключилась на Илью, — ну, интересно даже... ну, кто тебе сказал?

— Да не помню! — огрызнулся Илья, который, казалось, совсем не хотел поддерживать этот разговор и давно пожалел, что вылез со своим вопросом.

Впрочем, мне совсем не было его жалко. Я даже радовалась, что мать насадет на него. Ещё ничего толком не зная, я уже не сомневалась, что Илья в чём-то виноват. Про себя я решила, что не пророню ни слова. Илья просчитался, если вообразил, что я помогу ему облегчить душу.

А мать всё не унималась.

— Слушай-ка... слушай-ка, вот говорят все: “Америка! Америка!” И что? Люггер у нас каждый день столовался...

Илья вдруг поднялся. Мать от неожиданности умолкла. Илья потоптался на месте и, глядя себе по ноги, забормотал:

— Я пойду. Мне вставать рано. Я попрощаться зашёл. Завтра уезжаю.

— Куда это? — испугалась мать.

— В Питер еду. Там друг у меня... учились с ним... зовёт работать к себе. Говорит: приехай, Илья, будем бизнес делать.

— Слушай-ка, ну, надо тогда поужинать, — зашевелилась мать. — Проводы надо устроить.

— Нет, нет! — испугался Илья. — Не надо! Спасибо...

Иван Петрович опустил газету и повернулся в нашу сторону, с интересом прислушиваясь и приглядываясь.

— Что это ты... как будто... убегаешь? — насторожившись, спросила мать.

— Почему убегаю? — огрызнулся в ответ Илья. — Не убегаю, еду срочно. Меня там ждать никто не будет. Потом вернусь...

Мать всё ещё недоверчиво смотрела на Илью. Повисла пауза. Но Илья, торчавший свечой посреди комнаты, обрадовался ей. Вдруг он засуетился, затоптался. Подскочил пожать руку Ивану Петровичу, раскланялся с матерью, кивнул на ходу мне и уже попятился к выходу.

— Евгения, хоть ты проводи! — нашлась вдруг мать.

Я послушно поднялась и последовала за Ильёй. Мы молча прошли в сени. В сенях я нарочно не стала включать свет. Илья долго возился в темноте и даже надел туфли не на ту ногу.

— Я позвоню, — сказал он, справившись, наконец, с обувью. И потянулся, чтобы поцеловать меня.

Но я отстранила его. Я не сказала ни слова.

— Ну, пока, — он насмешливо рассматривал меня.

Я отвернулась. В следующую секунду дверь за ним захлопнулась.

Что ж, я знала, что он струсит. Но, признаться, не думала, что он так позорно убежит. В ту минуту он был мне противен. А самое обидное будет, если он залезет на Олимп без меня. Хотя я и хочу думать, что ничего у него не выйдет. Что он с радостью войдёт в рабочее стадо, как называет это Лиза, или в кряжистое большинство, как понимаю это я. И пусть его уделом будет залапанное счастье. Тогда мне останется пожалеть его.

Но тогда мне было жаль себя.

Когда Илья ушёл, первым моим движением было броситься в свою комнату и упасть на кровать. Но я не могла этого сделать. Я не могла позволить ни матери, ни Ивану Петровичу думать, что Илья меня бросил.

Я вернулась в комнату и невозмутимо уселась на прежнее место. Иван Петрович и мать повернулись ко мне, но я делала вид, что не замечаю их любопытных взглядов. Меня бил озноб и душили слёзы, но я улыбалась, изо всех сил стараясь казаться беззаботной.

— Слушай-ка, что это с ним? — первой не выдержала мать.

— С кем? — притворилась я.

— “С кем!” С Ильёй твоим... с кем ещё-то?..

— Ничего, — удивилась я.

— Что это он... уезжает...

— Работу нашёл хорошую, вот и уезжает.

— Так ты знала?

— Конечно, — соврала я и фыркнула для убедительности. — Это он с вами заходил попрощаться.

Больше о нём не говорили в тот вечер.

Только после ужина я смогла отправиться в свою комнату. Я опустилась на кровать и оперлась об неё ладонями. Я развеялась — слёз уже не было. Но мне непременно хотелось поплакать, и я нарочно стала нагонять на себя слёзы. “Ничтожество! — думала я. — Пустое место, ничтожество. Я — ни на что не годна. Даже пианистки из меня не получилось... Зачем надо было столько учиться, чтобы потом, как последняя неудачница, давать частные уроки? И французский язык зря учила... Ни на что не годна и никому не нужна! Матери нет до меня дела, Иван Петрович... Даже Илья бросил меня! Конечно! Зачем ему нужна такая никчёмная и бесполезная...”

Наконец, мои усилия увенчались успехом. Слёзы выплеснулись, как из двух вёдер, и обожгли щёки. Я упала лицом в подушку. Вернулась унявшаяся было ледяная дрожь, вдобавок, к неудовольствию моему, навалилась неизвестно откуда взявшаяся икота.

Не знаю точно, сколько я так проплакала и проикала, но я настолько устала, что уснула, не раздеваясь, и пришла в себя только утром. Сон не принёс мне облегчения, голова была тяжелая, и весь день я чувствовала себя разбитой. Была суббота, мне позвонила одна моя знакомая, с которой мы иногда совершаем вылазки в город, и пригласила в недавно открывшийся восточный ресторан. Я подумала, что мне не помешает немного развеяться, и приняла приглашение.

Хозяева заведения, разместившегося в подвальчике старого особняка, — вчерашние вышибалы и вымогатели. Обозвали они своё заведение “Алладин”. Странно, но никто в городе не обратил внимания на то, что вывеску писал полуграмотный заика. Впрочем, ресторан получился неплохим, а, в конце концов, и вывеску переправили.

Иван Петрович с матерью уехали на дачу. И мне пришлось в голову отправиться в ресторан на машине матери. Я оставила машину у входа, подождала приятельницу, и мы спустились с ней в зал. Горели факелы на стенах, лилась грустная восточная песня. Мы молча пили кофе и курили кальян. И мне вдруг страстно, до какой-то тоски, захотелось рассказать своей знакомой все свои злоключения — и про Илью, и про Лизу, и про то, что я ничего не понимаю в себе и не знаю, что теперь делать. И хотя мы не были с ней очень близки, меня охватила иллюзия огромного удовлетворения, могущего будто бы наступить от моей откровенности.

Но в ту секунду, когда я уже собиралась начать свой рассказ, в окно влетели отвратительные, резкие звуки автомобильной сигнализации. Вопила моя машина. Я подскочила к окну: прямо передо мной на новеньком, ещё блестящем эвакуаторе, появившемся в городе неделю тому назад по инициативе Ивана Петровича, стояла машина моей матери, которую я взяла без спросу. Машина мигала, кричала, взывала о помощи, не желая отправляться на штрафную автостоянку и не соблазняясь возможностью стать первой жертвой городского эвакуатора. Ничего мне не оставалось, как броситься ей на помощь. И долго ещё пришлось мне доказывать не желавшим расставаться со своей жертвой рабочим, что машина, в которую они вцепились, принадлежит супруге городского головы.

Домой я приехала в каком-то изнеможении.

Иван Петрович с матерью должны были вернуться в воскресенье. Я оставалась на ночь одна. Мне было страшно и неудобно. Голова моя болела и кружилась. Непонятное беспокойство томило меня. Я точно чего-то ждала. Я слонялась по дому и не могла найти себе места. А между тем, страх и тоска разрастались и становились почти нестерпимыми. Не придумав ничего лучшего, я отправилась спать. Я заперла входную дверь и особенно заботливо — дверь в своей комнате.

Не помню, как я уснула. Не знаю, долго ли спала. Я слышала, что сновидения длятся секунды, хоть кажется, что смотришь их целую ночь. Я проснулась, когда уже обутрело. Это немного успокоило меня.

Мне приснился сон, который, так или иначе, стал повторяться с той самой ночи. Я видела себя в какой-то комнате. Кругом было темно, но я почему-то знала, что это не моя комната. Более того, мне было известно, что комната большая и с высокими сводами. Из темноты вдруг навстречу мне

вышла дева. Я нарочно использую именно это слово — так прекрасна и величественно спокойна была она. Мне казалось, что она не замечает меня. Но мне отчего-то доставляло истинное наслаждение смотреть на неё и быть рядом с нею. И вдруг я не то, чтобы увидела, но скорее почувствовала в ней что-то знакомое. Это сходство с близким и хорошо известным мне человеком лишило меня покоя. Я мучительно хотела понять, кто эта прекрасная дева. И понимание пришло. Нисколько не удивляясь и не пугаясь такой странности, я поняла, что эта дева — я сама. В восторге я протянула к ней руки, но тут из темноты выступило другое существо — высокая, толстая женщина. Рыхлая, отвратительная толстуха на воспалённых ногах. Неопрятная и зловонная. Рыхлая очка и измятой шляпе. Она щурила глаза и улыбалась мне, показывая гнилые зубы. Но, несмотря на ужас и отвращение, я не бегу прочь. Я разглядываю это лицо, это рыхлое, трясущееся в беззвучном смехе тело. И снова приходит ясное, безошибочное понимание: это существо — тоже я. Не знаю, как это может быть, но это именно так. Но всего ужаснее, что Я вторая оттеснила Я первую. И дева, точно фантом или марево, растаяла. И всё, что от меня осталось, — это толстая, зловонная тётка... Я проснулась.

Кажется, с той самой ночи странные сны стали одолевать меня. Ночью они производили во мне такое расстройство, что днём я не могла забыть о них и чувствовала себя подавленно. Потом случилась ещё бóльшая странность. Как-то я прилегла. Было за полночь, хотя и не слишком поздно. Мне казалось, что я не сплю и обзираю свою комнату, освещённую ночником. Этот старый и простенький на вид ночник позволяет менять яркость самой обычной лампы, от него можно добиться силы света одной свечи. Я прекрасно помню, что в слабом свете видела шкаф, стоящий в линию с кроватью, а напротив — книжные полки и туалетный столик. Но главное — дверь. Я помню, что рассматривала свою белую крашеную дверь, и она не давала мне покоя. Филёнка разохлась и разошлась. Выступающая в самом центре продольная рейка сместилась и обнажила некрашеный бок. Это бельмо овладело моим вниманием настолько, что я не могла думать ни о чём другом. Помню, я сильно разволновалась, точно от этой высохшей филёнки и в самом деле что-то зависело. И вот в это самое время из-под моего окна послышались два — я это точно помню! — слабых вдоха, и в следующую секунду раздалось это отвратительное, столько раз уже слышанное мною нытьё:

— Водички... Дайте Васе водички...

Об Абрамке я почти забыла. Во всяком случае, я давно о нём не вспоминала. Да и никто вокруг не напоминал. Вот почему сначала я даже не удивилась, заслышав этот голос. Но уже в следующую секунду меня словно подбросило с кровати: Абрамка не может ходить и тем более говорить!

— Водички... Дайте Васе водички... — донеслось до меня, как опровержение, с улицы.

Господи! Нет спасения от этого даже мёртвым надоедливого дурачка! К ужасу, который, естественно, охватил меня, подмешалось вдруг что-то вроде злости на Абрамку, на этого мерзкого, негодного уродца, который ещё смеет являться и пугать меня! Как только злость появилась, страх дрогнул. И я, сама не зная, зачем, побежала на улицу.

Ночь была прелунная, настоящая колдовская ночь. Тихо было кругом. Скамеечка под моим окном стояла пустой.

Я вернулась домой.

Больше я ничего не слышала в ту ночь.

Конечно, я никому ничего не сказала...